

Осенний трюм

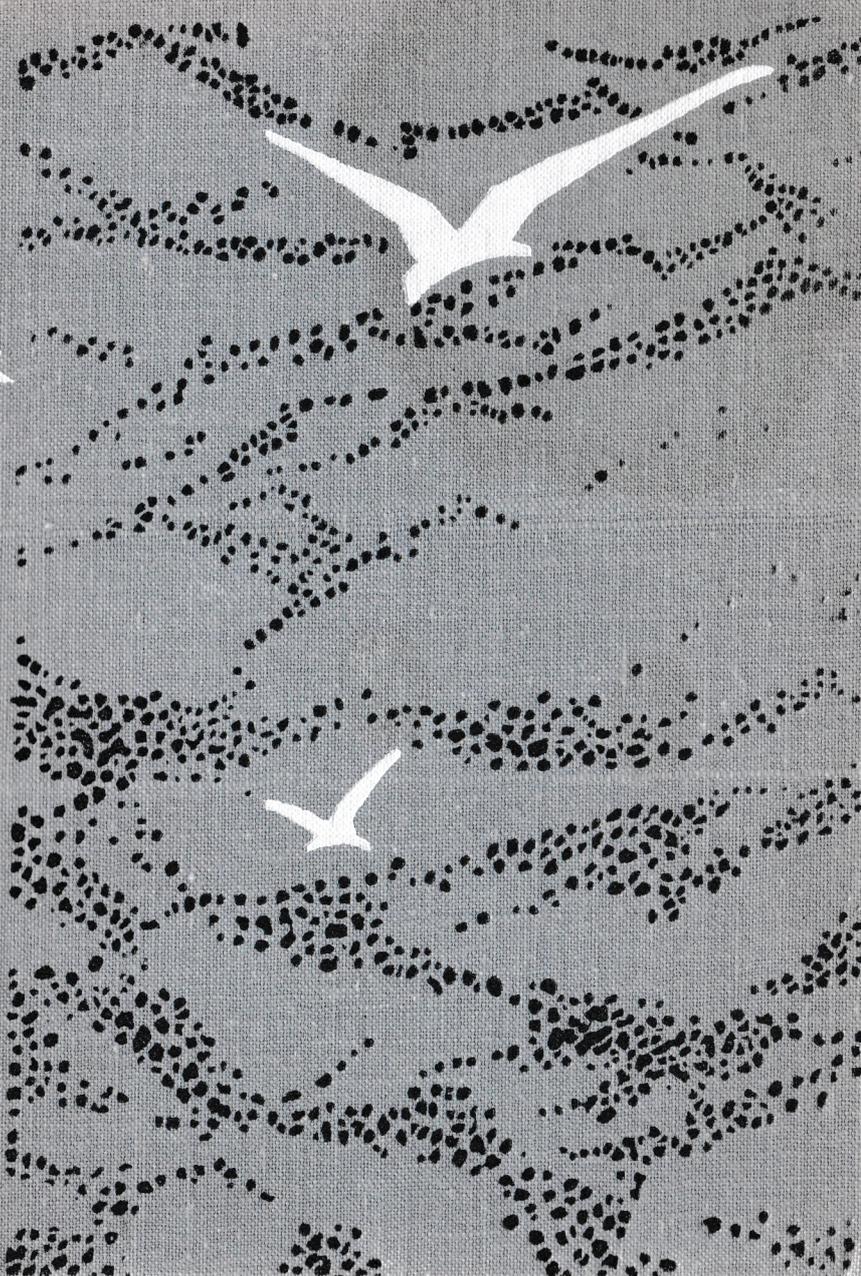


ДАВІД ХАНІТ

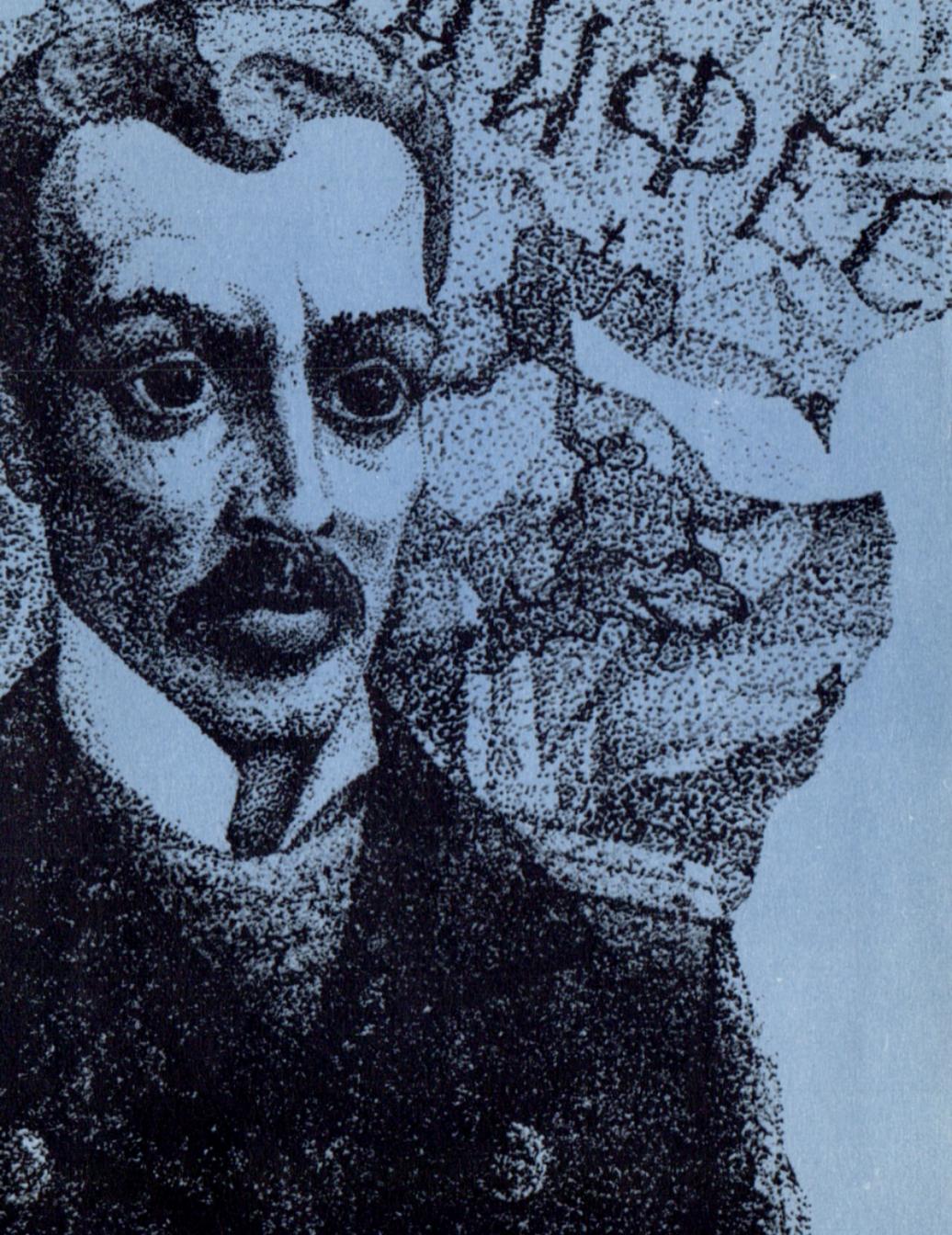
Осенний трюм



ДАВІД ХАНІТ



**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1969**



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Давид
Хайт*

**ОСЕННИЙ
ГРОМ**

ПОВЕСТЬ
О ЛЕЙТЕНАНТЕ ШМИДТЕ

Повесть Д. Хайта, выпускаемая в серии «Пламенные революционеры», раскрывает перед читателем светлый облик лейтенанта Петра Петровича Шмидта. Он возглавил в 1905 году восстание на крейсере «Очаков» и мужественно повел за собой восставшие корабли на неравный бой с угнетателями.

Может быть, он был слишком доверчив и наивен, этот человек с открытой и какой-то по-детски чистой душой. Но жила в нем та скрытая сила, та неумная воля, которая притянула матросов и объединила их вокруг него. Через всю жизнь пронес этот морской офицер, потомок декабристов, пламенную веру в революцию. На суде, перед вынесением смертного приговора, он смело заклеил позором царский строй.

Книга написана на документальном материале. В ней не только раскрыта судьба главного героя, но и даны запоминающиеся образы его друзей и врагов. Повесть с увлечением прочтут широкие круги читателей.

Часть первая

НАКАНУНЕ

Я не мог и не хотел отходить от рабочих. Они странно и с недоверием смотрели на меня из-за моей формы, но сильна была моя благодарная любовь к ним, и они скоро поняли чуткой душой своей, что я весь всегда был, есть и буду с ними.

И я стал все чаще слышать от них ласковое и доверчивое «товарищ»...

П. П. Шмидт

Из записок, сделанных во время нахождения под арестом на броненосце «Три святителя»

Глава первая

Восток и юг

1

С началом японской войны невеселая жизнь лейтенанта

Шмидта стала еще горестней и тревожней.

Особенно мучительным оказалось плавание в Либаву, откуда транспорт «Иртыш», на котором Шмидт состоял старшим офицером, должен был отправиться в составе второй эскадры на театр военных действий. Начальство никак не могло решить, где принимать уголь для эскадры. Время проходило в колебаниях и спорах, в переписке с главным морским штабом. Угля нужно было принять много, работа предстояла трудная и продолжительная, а с флагманского корабля все не было указаний. Наконец пришла теле-

грамма от командующего эскадрой адмирала Рождественского: уголь принять и через три дня выйти в Порт-Саид.

Недели бездействия завершились трехдневным авралом.

Неразбериха, нераспорядительность...

Адмирала Шмидт видел однажды на смотре.

— Давно на флоте? — рявкнул адмирал, остановившись перед Шмидтом во время обхода фронта, и, услышав ответ лейтенанта, ткнул его пальцем в грудь: — Где знаки отличия?

— Еще не заслужил, ваше превосходительство.

— Ч-черт знает что такое! Сколько лет на флоте и не заслужил. Стыдно-с!

Теперь, узнав о телеграмме адмирала, Шмидт почувствовал, что было нечто общее, одинаково глупое и в разговоре об орденах, и в чиновничьем распоряжении.

— За три дня погрузить уголь нельзя,— проговорил лейтенант, вытягиваясь перед командиром транспорта и глядя прямо в его круглое лицо,— для этого потребуется не меньше недели. И то при работе днем и ночью. Матросы не выдержат.

— Не меньше недели? — выкрикнул командир. Кончики его подвитых усов топорщились.— Да вы что? Адмиральский приказ, а вы рассуждаете!

— Надо объяснить адмиралу.

— Послушайте, лейтенант! Вы долго служили на торговом флоте и отвыкли от военно-морской службы. На военной службе нужно исполнять, а не объяснять.

И началась круглосуточная погрузка угля под холодным осенним дождем.

Матросы уставали до изнеможения, засыпали на ходу, падали и вскакивали вновь, услышав пронзительные боцманские свистки.

От негодования и жалости у лейтенанта навертывались слезы на глаза. Ему хотелось остановить работу хотя бы на полчаса, на четверть часа, чтобы люди немного отдохнули, но кто мог бы сделать это? И он молча глядел на матросов и только потуже затягивал под подбородком ремешок фуражки.

Как ни старалась команда, через три дня погрузка не была окончена. Шмидт доложил об этом командиру. А тот принял неожиданное решение: наполнить морской водой трюм судна, чтобы дать ему нужную осадку. Будет похоже, что корабль принял весь уголь.

Шмидт сначала не понял командира, а поняв, ужаснулся.

Как? Везти для эскадры, вышедшей против японцев, воду вместо угля? Везти ее на транспорте, купленном специально для перевозки угля за два миллиона рублей? И все это для того, чтобы доложить Рождественскому, что его приказ выполнен?

Шмидт подошел к командиру и сказал ему:

— В таком преступлении участвовать не буду.

Командир молча указал на флагманский корабль.

Шмидт вернулся к матросам и приказал продолжать погрузку. И только после того, как был погружен весь уголь, не через три дня, а через неделю, транспорт вышел в рейс на восток, догоняя эскадру.

Предстояло догнать Рождественского где-то в районе Зондского архипелага, чтобы дальше двигаться вместе. Семь крейсеров, купленных в Аргентине и составлявших вторую эскадру, уходили все вперед, и за ними шел тяжелый угольный транспорт.

Шмидт чувствовал себя как каторжник, прикованный к тачке с углем.

В Порт-Саиде командир ему сказал:

— Я заметил ваше панибратство с командой. Офицеру не полагается миндальничать с нижними чинами.

— Иначе не могу,— проговорил Шмидт,— и замечая, что человеческое отношение укрепляет дисциплину.

— Не забывайте, вы находитесь на военном корабле.

— Помню. Но другим быть не могу.

— В таком случае я буду рапортовать о вас адмиралу.

Подойдя к Мадагаскару, узнали, что Порт-Артур сдался японцам.

Уже давно шли слухи о том, что связь с крепостью потеряна, что порт-артурцы, измученные длительной осадой, сами делают ручные гранаты и что пополнения гарнизон не получает. И все же весть о том, что командующий Квантунским укрепленным районом генерал Стессель решил сдать Порт-Артур, всех ошеломила. Рассказывали, что члены «совета обороны крепости» с недоумением слушали заявление Стесселя, будто положение безвыходно, и отговаривали его от позорного шага, но все же после совещания, в первый день нового года, он отправил парламентариев к японскому генералу Ноги.

Тот, видя храбрость и готовность русских войск к сопротивлению, никак этого не ожидал и сначала не поверил, когда ему доложили о предложении Стесселя. Еще вчера вечером, советуясь со своими помощниками, он предполагал, что не меньше двух месяцев пройдет, прежде чем удастся овладеть крепостью, что японцы понесут большие потери, и сам подумывал, не начать ли переговоры о прекращении кровопролития на взаимно приемлемых условиях.

Через три дня после этого армия генерала Ноги была переброшена на Маньчжурский фронт, и благодаря ей бои там приняли успешный для японцев ход. После падения Порт Артура двигаться дальше эскадре Рождественского было бессмысленно. И все же из Петербурга пришел приказ прорваться во Владивосток, и эскадра продолжала свой поход.

Навстречу Рождественскому, миновавшему Малаккский пролив, вышел японский флот.

В Цусимском проливе японцы открыли огонь и зажгли флагманский броненосец «Суворов», на котором находился Рождественский.

Адмирал перешел с горящего корабля на миноносец «Бедовый» и сдался в плен.

Он сидел один в каюте, положив голову на руки, и искоса поглядывал через иллюминатор на бушующие волны. Потом закрывал глаза и отстранялся от иллюминатора. За несколько часов он совершенно изменился. Лицо его осунулось. Борода стала мокрой от слез. Он провел ладонью по спутанным волосам, расстегнул китель и с отчаянием начал прислушиваться к грому орудий. Ему доносили, что другие корабли эскадры, даже горящий флагман, продолжают сражаться. Вначале, услышав это, он надеялся на чудо, но когда ему доложили, что рядом, на броненосце «Адмирал Ушаков», погиб командир Миклуха-Маклай, не пожелавший покинуть корабль, он совсем растерялся и думал теперь только о собственном спасении.

Японские офицеры перебрались на миноносец и остановились в каюте перед адмиралом.

— Очень, очень, очень хорошо, — донесся к нему как бы издали спокойный, вежливый до приторности голос японского офицера.

Белозубая улыбка сверкала на желтом лице офи-

цера. Он стоял перед плененным русским адмиралом, вытянувшись, держа руку у козырька.

— Оружие есть? Положите на стол. Очень, очень, очень хорошо.

Рождественский только и произнес, грузно поднимаясь с кресла:

— Ведите меня.

И опять голова его упала на грудь.

А команда «Суворова» продолжала сражаться. На всем корабле уцелела только одна пушка, и матросы вели из нее огонь. Люди дрались до последней минуты, пока броненосец держался на воде.

Другие корабли, окруженные японцами, долго не спускали флага. Выбрасывались на мель, продолжали неравный бой, либо открывали кингстоны и шли ко дну, не желая сдаваться. Матросы и офицеры, задыхаясь в дыму на тонущих кораблях, спрашивали друг друга:

— Где адмирал?

Лейтенант Шмидт обо всем этом узнал позже. Он заболел в пути, был высажен на берег в Порт-Саиде, направлен в Севастополь. Добираясь домой, он не раз отчетливо представлял себе грузную и жалкую фигуру адмирала Рождественского, этого любителя парадов, этого по званию военного моряка, не знавшего ни людей, ни моря, ни войны. В ушах Шмидта звучал его презрительный вопрос: «Где знаки отличия?» Так кто же он сам, этот человек? Царедворец? Изменник? Кто же такой Стессель?

Долго еще лейтенант Шмидт, уже в Севастополе, размышлял над подробностями цусимского боя, из которого только два миноносца и один крейсер «Изум-
руд» прорвались во Владивосток, а остальные по-

гибли. Доискивался до подлинных причин поражения. И все думал об адмирале Рожественском, о генерале Стесселе, о людях, которым царское правительство доверило судьбу народа.

Когда Шмидт сделал для себя определенные выводы, он начал искать среди знакомых офицеров друзей: ему необходимы были настоящие друзья, которым можно доверить свою душевную тревогу. После долгих поисков ему удалось найти нескольких человек, озабоченных, как и он, тем, что происходит с их любимой и истерзанной родиной. Они сблизились. В скором времени эти люди составили «Союз офицеров — друзей народа».

Тогда же от имени этого союза лейтенант Шмидт написал воззвание, отпечатанное затем на гектографе и разосланное по всем кораблям. Воззвание было обращено к офицерам и адмиралам. Их призывали подать петицию царю, чтобы тот узнал правду о развале армии и флота, о невозможности продолжать войну.

День за днем лейтенант Шмидт ждал отклика на этот призыв. Но никто не откликнулся, хотя воззвание читалось, переписывалось от руки и многие ему сочувствовали. Ни один офицер не осмелился примкнуть к союзу. Каждый думал о себе, боялся за себя. Более того: среди офицеров было много таких, которые требовали судить Шмидта офицерским судом.

2

За колоннадой медленно выплывало солнце. Море утихло и, казалось, ушло куда-то далеко. Шмидт поднялся с Графской пристани по каменной лестнице на крутую Соборную гору, где жил с сыном в маленьком флигеле, в глубине одного из дворов.

Во дворе стояла плотная, густая тишина, не потревоженная ни выкриками продавцов, ни шорохом шагов, ни стуком колес. Небо над горой было яркосиним, а трава у подножия горы, пробивавшаяся из камней,— густо-зеленой. У калитки зацвели розы. И звонко, по-летнему щебетали птицы.

В этом городе Шмидт жил еще с того времени, когда вернулся из экспедиции к Северному полюсу на ледоколе «Ермак». В Черноморский флот он был переведен тогда по собственной просьбе, чтобы закалиться в военно-морском деле; но вскоре он начал тяготиться застойным бытом, офицерской средой, пропитанной кастовыми предрассудками. Ему надоедали длительные стоянки на мертвых якорях в Севастопольской бухте. Он подал рапорт об отставке, чтобы выйти в запас и плавать на торговых пароходах. После долгого ожидания его произвели из мичманов в лейтенанты. В этом звании он и поступил в торговый флот.

Во флигеле все было так же, как до отъезда на Дальний Восток.

Шмидт обнял сына, бросившегося ему навстречу, и быстро прошел по маленьким комнаткам.

В кабинете, оклеенном темными обоями, на письменном столе сохранился прежний порядок. Точно так же стояла в углу стола старинная чернильница, глиняная, темная чернильница, оставшаяся от матери. Самая неизменность вещей напоминала мать, задумчивую, без усталости искавшую чего-то доброго в замкнутом семейном кругу в доме мужа-адмирала, донимавшего ее насмешками, попреками. Самым бренным словом в его устах было слово «идеалистка».

жил муж, в осенний день. Лейтенант Шмидт запомнил и этот день, и кладбище. Но больше вспоминалась ему Одесса, где он родился, Стурдзовский переулок, где жил в детстве с двумя сестрами — Олей и Аней и где тихая, нежная мама звала к себе мальчика Петю, и он, зажмурившись, клал курчавую голову на ее колени. От матери унаследовал он нравственную чуткость, которая росла с годами, и впечатлительность, мучившую его предвидением чего-то недоброго, какой-то беды. От страха, вызванного странным предчувствием, он часто дрожал, плакал обильными детскими слезами. Спал он в детстве тревожно, разбросав руки, просыпался и однажды, вбежав ночью к матери, взволнованно выкрикнул: «Мама, мне снилось, что ты умрешь через два года!»

Смутная мечтательность, неосознанная тоска по любви и справедливости, к которой стремилась мать все недолгое время своей жизни, перешли к сыну. Старшая сестра Оля, воспринявшая, как он, материнскую доброту, старалась окружить его после смерти матери трогательной заботой. Она уделяла ему много времени и внимания, но была очень религиозной, часто читала вслух библию, без конца говорила о боге, и это создавало особенную, исполненную грусти, тягостную обстановку в доме.

Жизнь Оле не удалась. Выйдя замуж, она надорвалась в бессильной борьбе с несправедливостями, которые видела на каждом шагу, и покончила с собой в поместье мужа.

Лейтенант Шмидт стоял в своем кабинете, погруженный в раздумье.

— Приехал! — донесся вдруг к нему со двора хриплый голос.

Тотчас же в комнату ворвалась худая женщина со злым испитым лицом. Рот ее был широко раскрыт. Мутные глаза, обведенные вспухшими веками, впились в приезжего. Голые плечи, на которые наспех был наброшен платок, дрожали.

— Ну что ж,— проговорила женщина,— здравствуй, коли так...

Она рванулась к столу, схватила чернильницу и бросила ее на пол.

— Бережешь? — закричала она.— Вот тебе! Будешь теперь вспоминать. Мать хорошая... А я?

Шмидт молча собрал осколки.

Как это произошло? Почему он женился на этой женщине?

Восемнадцать лет назад Шмидт, совсем еще юный мичман, встретил ее на Невском проспекте. В осеннем сумраке она бродила по мокрому тротуару в стареньком драповом пальто, в шляпке со стеклянными вишнями. Ноги ее в легких туфельках-лодочках на высоком каблуке тяжело отрывались от тротуара. Еще издали, заметив мичмана, она проговорила плачущим голосом:

— Голубчик, милый! Не уходите. Погодите одну минутку.

С проспекта она привела мичмана к себе домой, куда-то далеко, за Пески, в низенький домишко, в большую и нищую семью. Ее комнатка, оклеенная голубенькими обоями, упиралась окном в грязную и мрачную стену. С низкого потолка, разрисованного зелеными разводами плесени, свисала лампа с разбитым стеклом. Мрачные обитатели квартиры, окружившие мичмана, заглядывали ему в глаза, точно ждали от него спасения. Женщина, которую звали Доминика, молчала, и от этого ее было еще больше жаль.

12 Он увел ее с собой в пустую свою комнату, в которой

поселился недавно, окончив морской корпус, и она стала его женой. Венчался он в церкви тайно и от морского начальства, и от отца-адмирала, и от родственников и знакомых.

— На уличной твари женился! — закричал старик-отец, когда узнал о его поступке.

Не было у молодого человека иного чувства к Доминике, кроме сострадания. Она же оказалась существом настолько к этому времени изломанным и искаженным, что спасти ее не достало бы сил ни у кого.

Ему трудно было увериться в этой печальной правде.

Он еще в училище читал рассказ Гаршина «Надежда Николаевна». Милую и несчастную Надежду Николаевну тоже называли проституткой, но никто не заглянул в ее душу, надломленную тяжелой судьбой. Шмидт плакал тогда над ее участью. Часто снилась ему Надежда Николаевна и стояла перед ним во сне как живая.

— «Ты! — восклицала она. — Ты поймешь меня!»

Во всем виновата жизнь, где столько нужды и несправедливости.

Как изменить, как очистить эту жизнь?

Шмидт этого не знал и протянул руку Доминике в порыве сострадания, жертвуя своей собственной судьбой. И вышло так, что жертва его была бесполезной.

У них родился сын, но и это не изменило Доминику.

Она была груба с мужем и ребенком, пила горькую, исчезала по ночам.

Мальчик рос угрюмый, сосредоточенный, углубленный в свои думы, которыми долгое время не делился даже с отцом. Таким он был и когда вырос.

превратился в долговязого юношу, казавшегося еще выше в шинели ученика реального училища.

Шмидт сделал для Доминики все, но кончилось тем, что надо было спасать от нее сына. Он развелся с нею. И теперь лишь изредка она врывалась в его жизнь, причиняя ему сильную боль в те короткие минуты, когда оставалась с ним вдвоем.

Кабинет лейтенанта Шмидта похож был на каюту. О плаваниях напоминали фотографии маяков и портов на стенах, глобус на столе, морской бинокль; но на полках лежали стопки книг по рабочему движению и жгучему тогда вопросу о равноправии женщин, и это было уже необычным в комнате морского офицера. Модель парохода «Кострома», сделанная в Японии, где лейтенант побывал во время заокеанского плавания, и мраморная женская головка, купленная во Флоренции, довершали убранство стола.

Однажды в Петербурге, будучи гардемаринном, утомленный одинокими размышлениями над очевидной несправедливостью, которая существует в обществе, думая о том, что ему делать, дабы облегчить страдания людей, он решился пойти в редакцию «Русского богатства», непременно познакомиться с Николаем Константиновичем Михайловским, которого читал и любил, называл «народным глашатаем». Михайловского он не застал и написал ему письмо, в котором спрашивал, как жить. Ответ пришел скоро, и с того времени началась между ними переписка.

Шмидт вырослел под влиянием Михайловского, этого «апостола правды», разносторонняя образованность которого и литературный талант не могли его не увлечь. Но Михайловский, овладев его мыслями, направлял их в сторону того неопределенного демократизма, в который вырождались к тому времени революционное народничество.

Затем Шмидт познакомился с публицистом Шелгуновым, отцом своего товарища по морскому корпусу, и с молодым профессором-экономистом Карышевым, который направил юношу-гардемарина на определенную стезю — изучение экономического положения русского крестьянства. Знакомства и чтение выработали у Шмидта те политические убеждения, в которых он был тверд. насколько можно твердо держаться взглядов, в которых перемешались утопический социализм, толстовство, народничество.

«Тот, кому дана способность страдать за других и логически мыслить, кто пристально изучал общественные науки, тот убежденный социалист. Если христианство распространялось с небывалой быстротой, неся в мир братство и любовь, несмотря на то, что его обосновывала только вера, то распространение социализма совершится с невиданной в мире устойчивостью, так как он основан не на вере и утопии, а на точных, научных выводах».

Так думал Шмидт, но «научность» мечтательного социализма, над которым он не сумел подняться, была уже к этому времени очевидно несостоятельной. Он так и не смог присоединиться ни к одной партии. Социал-демократом он не стал, ибо его личные склонности удерживали его в плену народнического субъективизма. Но он не во всем соглашался и с эсерами, пытавшимися отрицать ведущую в революции роль фабрично-заводского пролетариата. Отталкивали его от себя своей компромиссностью, боязнью решительных социальных перемен и либералы.

И все же лейтенанту Шмидту было ясно, против чего надо бороться. Что же касается положительной программы, он предоставлял будущему выработать ту форму народоправства, которая установит жизнь справедливую и для всех равную.

Из Севастополя Шмидт выехал на три дня в Киев, чтобы увидеться там со знакомым моряком, членом «Союза офицеров». Но моряка в городе не оказалось. О свидании они условились письмами совсем недавно, и теперь лейтенант тревожился, предполагая худшее: не арестован ли единомышленник? «Союз офицеров» развалился, не успев создаться.

Шмидт долго бродил по улицам, похожим на сад, усыпанный липовым цветом. Деревья кое-где разрослись так густо, что закрывали небо, и оно просеивалось сквозь листву скупыми дрожащими солнечными пятнами.

По пути в Киев Шмидт простудился, и у него заболели почки. Когда боль утихла, он уснул и на большой узловой станции у него украли казенные деньги: в Севастополе он не успел сдать эти деньги в казначейство.

Он побежал к вокзальному жандарму, и когда тот стоял уже перед ним навытяжку, руки по швам, вдруг вспомнил, что ему нельзя назваться, потому что уехал на три дня без разрешения высшего начальства. И получилось так, что, вместо того чтобы рассказать о краже, он проговорил, хлопая себя по карману: «Извините, зря побеспокоил. Думал, деньги украли... Нашел!», и уловил косой взгляд козырявшего ему жандарма, и услышал его возглас: «Бывает, ваше благородие!»

И все это — и кража, и болезнь, и несостоявшееся свидание — расстроило лейтенанта. Он ходил по улицам, раздумывая, где достать деньги, чтобы вернуть их. Он рассеянно бродил по городу в ожидании поезда, оказался на ипподроме, остановился недоуменно

у трибуны и громко спросил себя: «Почему ипподром?»

В поздний ночной час, ощущая во всем теле усталость, он вошел наконец в вагон и на мгновение остановился, вглядываясь в полутьму. Ему хотелось поскорее найти свое место в купе, расстегнуть китель, остаться одному. Через полуоткрытую дверь он заглянул из коридора: будут ли соседи в купе и кто? Больше всего боялся он в этот час болтливых и развязных, утомительно любознательных и скучающих от сытости попутчиков, которых надо вежливо выслушивать, сохранять на лице принужденную улыбку, стараясь не терять нить ненужного разговора. И когда заметил в полутьме у окна молодую женщину, ощутил к ней неприязнь.

Он уловил быстрый взгляд спутницы, брошенный на него, и в этом взгляде не прочитал ничего, кроме холодного любопытства, от которого так хотелось сейчас бежать.

Сняв фуражку, лейтенант присел на диван, подалее от окна, где стояла женщина, и в той же сосредоточенной задумчивости даже слегка приподнял руку, как бы защищаясь от спутницы, точно она наступала на него. Он теснее сомкнул губы и безучастно поглядел перед собою на противоположную стенку, где с полки свисал синий жакет.

Женщина с удивлением взглянула на него. Он молчал. Она слегка усмехнулась, пожала плечами и ушла в соседнее купе, но вскоре вернулась и села рядом, временами бросая быстрые взгляды на незнакомого морского офицера.

Поезд тронулся. Проводник зажег в вагоне свечу. Стало чуть светлее, но и в тусклом свете лицо попутчицы по-прежнему мерцало едва различимо.

— Опоздала к семичасовому поезду, — прогово-

рила незнакомка, — и теперь еду дальним, хотя всего лишь на дачу...

— Вот как! — рассеянно отозвался лейтенант, — на дачу...

И замолчал. Начиналось самое трудное и ненужное — надо было поддерживать нежеланный разговор.

— Это близко, — продолжала женщина, — всего сором минут.

Он откинулся на спинку дивана и взглянул на женщину с мучительной неловкостью.

Свеча разгорелась, и офицер увидел, что женщина смуглая, видимо, южанка. Она показалась ему знакомой, может быть, промелькнула днем, когда он бродил по городу, не зная, куда деваться. Он снял накидку и остался в белом кителе с золотыми погонами. Отбросил волосы. Женщина пристально посмотрела на его чистый лоб, и видно было, что в ней появился к нему интерес. Она заглянула ему в глаза и спросила после недолгого молчания.

— А вам далеко?

— В Севастополь! — ответил он, как бы обрывая краткостью ответа увел, которым завязывалось знакомство. И лишь из вежливости спросил:

— Живете с родителями?

— Нет, я замужем. Впрочем, мы недавно разошлись.

«Начинается!» — огорченно подумал он и с большой неохотой приготовился выслушать одну из тех интимных историй, которыми делятся незнакомые люди в пути с тем большей охотой, что знают, что никогда больше не встретятся.

Но женщина замолчала, и он был благодарен ей уже за это. Вдруг она встрепенулась и спросила:

— А вы?

— Что я?

— Женаты?

Он вздрогнул. Внезапно к недавним огорчениям прибавилось и это: напоминание о его женитьбе. Не хотелось говорить об этом, чтобы совсем не замутить душу.

Он промолчал.

Поезд замедлил ход. Ночная тьма с летящими станционными огоньками сгустилась, стала совсем черной, закрыла все вокруг, кроме звезд на невидимом небе. Теплый ветер рвал занавеску на открытом окне, шевелил волосы, задувал свечу в стеклянном фонаре. Приближалась станция, к которой ехала спутница, и Шмидт почувствовал облегчение, точно освобождался от тяжелого груза.

— Поезд стоит три минуты! — объявил проводник.

Женщина порывисто схватила с полки саквояж и выжидающе в последний раз взглянула на спутника. Тот слегка кивнул ей и помахал рукой. Внезапным движением она вырвала листок из записной книжки, написала что-то и протянула листок Шмидту. Потом быстрыми шагами пошла по коридору к выходу.

Глухо донесся звон колокола, возвещавший об отходе поезда. Три минуты прошли. Шмидт рассеянно скатал листок, оставленный незнакомкой, и безучастно держал в ладони бумажный шарик. Потом с тем же безразличием развернул шарик и прочитал:

«Лесная, 25. Зинаида Ивановна Ризберг».

Он снова скатал листок и опустил его в карман.

4

Эта встреча в вагоне с каждым днем вспоминалась Шмидту все ярче. Незнакомка, промелькнувшая в дрожащем свете свечи, ушла, и он тогда с нею почти

не простился, стремясь лишь остаться в одиночестве. Теперь, вспоминая, как она ушла одна в темноту, он видел то мерцающий блеск ее глаз, то улыбку, то смуглое лицо.

И однажды, вытащив из кармана кителя все еще лежавший там бумажный плотно скатанный шарик, он развернул его и, прочтя адрес незнакомки, написал ей.

«Мы оба почти одновременно закрыли свои старые книги жизни и стоим перед новыми, робкие и нерешительные,— писал он в первом письме.— Вы в своей нерешительности еще перелистываете утомленной рукой последние страницы старой прочитанной книги, а я захлопнул с горечью свою книгу, и мне тяжелы воспоминания об этой мучительной и бессмысленной повести. Но много аналогий в нашем положении, хотя вы сохранили гораздо больше жизнеспособности и энергии, а я устал.

Крепко жму вашу руку. Письмо ваше будет для меня большой радостью. Ваш дикий попутчик».

Она ответила. Началась переписка.

В одном из писем, написанном аккуратными строчками, почти без помарок, Зинаида Ивановна ласково спрашивала Шмидта о здоровье, о том, как он живет,— только и всего, но и от этого у него на душе стало тихо и спокойно.

Отступила тоска. Прошла и горечь от недавнего послания из Киева, в котором Зинаида Ивановна спрашивала прямо: «Для чего мы переписываемся?» Не мог он ответить на этот вопрос, потому что не думал об этом, да и не было у него никакой цели. Он знал только, что вот он, дотянувший до тридцати восьми лет, много переживший мужчина, так нуждается в этой переписке, что не может представить себе без нее и ближайшие дни. В том письме, где она

задала этот вопрос, она назвала его эгоистом. Наверно, он показался ей таким при встрече. Но неужели не поняла она его писем? От этого словечка он почувствовал острую боль. Правда, ведь тогда, в вагоне, он замыкался в своих мыслях и был с нею неприветлив... И теперь, чтобы оправдаться, поспешил ответить:

«О, если бы вы знали, дорогая, как противоречит этому мнению обо мне вся моя жизнь, целиком ушедшая на других. Как много людей могли бы стать около вас и сказать вам: да, он слабый человек, он весь из недостатков, но только не говорите ему, что он живет для себя и любит только себя, потому что это жестокая неправда. Моя жизнь уходит большей своей частью даже не для друзей, а для совершенно чужих мне людей, которые приходят ко мне и говорят со мной с гораздо большим доверием, чем вы, моя недобрая Зинаида Ивановна. И за всем тем я все-таки одинок и спротив, а почему — я мог бы объяснить вам, да, во-первых, боюсь утомить вас, а во-вторых, больно говорить, когда чувствуешь, что тебе не верят.

В вашей озлобленной недоверчивости к людям, в вашем постоянном «почему», «к чему» я вижу, чувствую драму жизни, и если бы вы знали, голубчик, как меня тянет стать к вам ближе, как хотел бы я увидеть вашу ясную душу освобожденной от навеянного холода и суровой недоверчивости к тому, кто искренне верит в вас!»

Это письмо рассеяло ее обиду. Теперь в ответе Зинаиды Ивановны чувствовались нежность и доверие. И он понял окончательно и навсегда, что во всем огромном мире нет у него человека ближе этой женщины, встреченной случайно.

Что знал он о ней, кроме того, что сообщала она **21**

ему в своих письмах, которые он разделял на «настоящие» и «ненастоящие»? То ласковые, то затаенные, сдержанно сухие... Бывший ее муж представлялся ему в воображении непонятным и бессловесным. Тихо жил с нею. Тихо ушел. Почему? Не надо спрашивать. Это чужая тайна.

Недавно получены были от нее сразу два письма, и одно из них, последнее, написанное карандашом, встревожило его. Зинаида Ивановна была больна. Зачем она не побереглась осенней сырости, как просил он ее? Вот она теперь там, в Киеве, больная, без помощи, а он сидит здесь за столом возмутительно здоровый и мучает ее письмами, в которых выпрашивает себе счастья.

«Знайте, твердо верьте, клянусь вам святой памятью моей матери, ясны и чисты мои мысли о вас и ни одной преступной мыслью никогда не оскорблю я вас,— писал он ей.— Если вам нужен человек, в которого вы могли бы твердо верить, то вы его нашли во мне, в этом вы можете быть совершенно уверены, но я должен быть правдивым и сказать вам, что я не смотрю на вас как на человека отвлеченного, вы для меня, конечно, раньше всего человек, но человек-женщина, и иначе я не могу думать о вас, тем не менее я смотрю на вас, женщину, честно, чисто и хорошо».

Недавно он попросил у нее позволения приехать к ней в Киев, хотя бы на один день, по пути в Москву.

В Москву он стремился, чтобы встретиться там с некоторыми общественными деятелями, с редакторами газет, чтобы выслушать их, высказаться самому, обсудить то, что волнует сейчас многих. Мечтал он и о поездке потом в Одессу, где были моряки, знакомые по торговому флоту.

один день. Это будет не приезд, а проезд. Но она не ответила на его просьбу. В ответном письме попросила лишь прислать ей виноград. И он так обрадовался хоть этой просьбе, что и на денщика Федора, перевязывавшего ящик с виноградом тонкой и крепкой бечевкой, глядел необыкновенно ласково. Однако посылку не приняли на почте. Он был этим, конечно, огорчен. Но огорчение его сразу прошло, когда он узнал, что посылку не приняли по случаю забастовки почтово-телеграфных работников.

«Представьте, что вы пожелали бы, чтобы я с завтрашнего дня изменил бы в корне свою жизнь,— писал он Зинаиде Ивановне,— отвернулся бы от убеждений и деятельности, которая наполняет мою жизнь, и для большей безопасности превратился в самого благонамеренного обывателя... Я бы ответил вам: нет, Зинаида Ивановна, я для вас этого не сделаю. Поймите: шкуру свою, здоровье, труд, заработок мой, все это отдать вам для меня большое счастье, но для вас я не поступлюсь ни одним своим убеждением, если вы мне не докажете, что вы, а не я владею истиной».

Глава вторая

Шум времени

1

В воскресный день, когда матросы с торгового парохода «Байкал», получив увольнительные, разбрелись по городу, матрос Карнаухов-Краухов, надев штатское пальто, пошел в Эрмитаж.

Шел он туда неуверенно, потому что не знал, открыт ли Эрмитаж в воскресенье. А ему давно хотелось попасть в это здание, чтобы увидеть картины, с которыми знаком был только по репродукциям. И вот он шагал к Эрмитажу в то время, когда другие матросы с «Байкала» глушили уже водку в кабаках за Старо-Невским или гуляли в обнимку с девицами с Обводного.

На углу, вблизи Дворцовой площади, он остановился. Со всех сторон шли к ней толпы, заполняя ее. От множества людей, празднично, по-воскресному одетых, пестрело в глазах. Цветные полшалки, картузы, тулупы, башлыки, валенки, сапоги... Высоко в воздухе раскачивались иконы, кресты, реяли трехцветные флаги... Донеслось обрываемое ветром пение.

Карнаухов-Краухов слов не разобрал и уловил лишь неясно мотив.

«Что это? — удивленно подумал матрос. — Почему идут ко дворцу?»

Он оглянулся и увидел, что и по улице, которой он только что шел, так же, накатываясь как волны, стремительно бежали толпы. Площадь все больше наполнялась людьми. А навстречу им медленно двигались солдаты — пехота и конница.

«Парад! — мелькнула у Карнаухова-Краухова догадка. — Какой же сегодня праздник?»

Он начал перебирать в памяти табельные дни, но ничего не вспомнил и, недоумевая, двинулся дальше, к Эрмитажу. Он шел по набережной. И вдруг вздрогнул, остановился: на площади грянул залп.

— Стреляют! — выкрикнул матрос и, все еще ничего не понимая, побежал на площадь.

Он увидел лежащую девушку и возле нее снег, пропитанный кровью.

ском, у Казанского собора, на Морской, на Гороховой, у Полицейского моста, на Мойке. Он бежал вместе со всеми, с питерским рабочим людом, бежал, не зная куда, и вместе с другими остановился на Литейном, у охотничьего магазина. Там разбили стекло, хватая с витрины оружие, и он схватил двустволку, патроны, зарядил и потом побежал назад, туда, где еще стреляли солдаты, а им отвечали редкие револьверные и ружейные выстрелы.

У Александровского сада он остановился на мгновение отдышаться. Там взрослые и дети взобрались на деревья, протянувшие голые руки-ветки, повисли на чугунной садовой решетке, густо заполнили аллею. Он прошел за ограду, но обратно уже не было выхода. Жандармы закрыли все калитки и ворота. Карнаухов-Краухов оглянулся. Напротив сада выстроилась рота Преображенского полка. За нею дальше, вдоль ограды, немю и грозно застыли в ожидании казаки. Заиграл рожок. Что-то выкрикнул офицер, взмахнул коротко рукой в перчатке, и преображенцы снова вскинули ружья.

Залп. Другой. Третий.

Улучив момент, Карнаухов-Краухов перелез через решетку.

Так и не побывал он в Эрмитаже.

Но этот день, воскресенье 9 января, он запомнил навсегда.

2

Ленин жил еще в Женеве и оттуда следил за событиями. Зная, что русских рабочих нельзя удержать от открытой борьбы, он считал, что всякий честный социал-демократ обязан способствовать превращению стихийных выступлений во всенародную организован-

ную революцию. Но меньшевики по-прежнему противились решительным действиям и по-прежнему упрекали Ленина в прямолинейности, в слепой вере в тех, кого надо еще долгое время просвещать, прежде чем их можно будет вооружить.

В библиотеку «Общества чтения» Ленин приходил к самому открытию, когда на столах только-только раскладывались французские, английские, немецкие газеты и журналы и местная газета «Трибюн де Женев».

Не только новости дня — телеграфные сообщения корреспондентов, статьи обозревателей — читал в эти дни Ленин. Он снова и снова брал с полки сочинения Маркса и Энгельса, вдумываясь в то, что они писали о восстаниях, читал книги по военному искусству, обдумывая тщательно, со всех сторон технику, тактику, организацию боев в условиях народного восстания, вплоть до таких немаловажных подробностей, как партизанские ударные группы, «пятки и десятки», внезапные штурмы.

Первая попытка закупить для русских рабочих оружие была неудачной, но это не обескуражило Ленина. Он сам теперь руководил сбором пожертвований в революционный фонд, обратился с призывом ко всем, кому дорога свобода: рабочим нужно оружие!

Женевскую окраину, где зимой и летом жили Ленин и Крупская, посещали подпольные работники со всех концов России. Иногда людей собиралось много, и тогда внизу, где была кухня, весело кипел большой эмалированный чайник и тут же, на кухне, хозяин принимал гостей.

Наверху, куда вела лестница из кухни, было тесно. В двух небольших комнатках, занятых некращенными столами, было много книг, газет, рукописей. Неожиданным предметом на столе казались большие кон-

торские счета: Ленин подсчитывал цифры, он занимался статистикой. На столе Крупской можно было увидеть пузырек с симпатическими чернилами, которыми она между строк невинного письма вписывала тайные шифрованные сообщения в Россию подпольным комитетам, заводским кружкам и партийным товарищам. Ответная почта, приходившая сюда в изобилии, также была большей частью зашифрованная.

С каждым подпольщиком, возвращавшимся из Швейцарии в Россию, Крупская устанавливала особый шифр. И потому, что не все они были искусными шифровальщиками, к тому же часто писали наспех, где-нибудь в случайном месте, приходилось прилагать много усилий для расшифровки их писем.

И Крупская, и Ленин обладали замечательной памятью. Они помнили множество партийных кличек товарищей, входивших в российские подпольные комитеты, помнили шифры, явки, адреса.

Ответы корреспондентам писал сам Ленин, предоставив жене шифровку и переписку химическими чернилами.

Крупская занималась и рассылкой литературы, отличаясь умением и сноровкой и в этом трудном деле. Она пользовалась адресами разных русских учреждений, торговых фирм, универсальных магазинов, где кто-нибудь из служащих был связан с подпольным комитетом. За письмами Ленина, вложенными в конверты со штампом какой-нибудь несуществующей заграничной фирмы и отправлявшимися для безопасности не из Женевы, а из разных городов Франции, Германии, а иногда даже Австрии, подпольщики внимательно следили и перехватывали их, как только письма приходили по адресу фирмы или конторы, где они работали. В случае необходимости они похищали письма у адресатов прежде, чем какой-нибудь управ-

ляющий конторой вздумал бы через почтамт или полицию выяснить, откуда он получил какое-то непонятное письмо.

Крупской часто приходилось запрашивать местные комитеты: действительны ли старые адреса, не изменились ли они, не было ли провалов? Наблюдение в России за заграничными письмами велось строжайшее, и всякая оплошность могла вызвать слежку, аресты, даже разгром организации.

«Ильичи», как называли супругов, изобретали после каждого провала новые способы отправки писем и перевозки литературы. Заказывали специальные чемоданы с двойными стенками и двойным дном. А когда произошел провал и с этими чемоданами, Ленин придумал другую оригинальную конструкцию: из картона с помощью переплетчиков он мастерил альбомы, коробочки, картонки для дамских шляп. В картонки вменялось много брошюр, в альбомах под швейцарскими видами, наклеенными сверху, хранились тайные письма.

Через три месяца после трагического январского побоища в Петербурге, в середине апреля, Ленин и Крупская приехали в Лондон на III партийный съезд. Там было уже несколько делегатов, пробравшихся из России.

Съезд собрался на одной из дальних улиц, в зале при пивном баре. С хозяином бара удалось быстро договориться. Он получил определенную мзду за использование помещения для собраний «русских торгово-промышленников».

Ленин встречал каждого делегата. Он быстро записывал на листке по-английски адрес ночлега, чаще всего на окраине, в Уайтчепеле, и отмечал на другой стороне листка русскими буквами, как надо произносить английские слова. Надежда Константиновна

вручала делегатам анкеты, отпечатанные ею на машинке.

Вглядываясь в лица делегатов, Ленин думал о том, что произойдет после съезда, когда решения его вступят в силу, как эти товарищи возглавят демонстрации, стачки, забастовки, всеобщее вооруженное восстание.

Здесь были хорошо знакомые ему большевики — Луначарский, Красин, Литвинов, Скрыпник, Лядов, но были и люди, которых он видел впервые и до сих пор знал только по их партийной работе и по партийным прозвищам. Среди делегатов выделялся солидным возрастом грузин Миха Цхакая, одетый в черную рубаху, подпоясанную кожаным ремешком с серебряным набором.

От него Ленин узнал, какой большой размах приняло крестьянское движение в Гурии, о революционных крестьянских комитетах, действующих на Кавказе как местная власть. Товарищу Цхакая, как старейшему по возрасту партийцу, он предложил открыть заседание.

— Жозефина пришла! — воскликнул кто-то.

Жозефиной оказался Воровский. В конспиративных целях мужчинам часто давали женские имена, а женщинам — мужские. Так, уральский делегат Фридолин был Варенькой, Лядов — Русалкой, а Розалия Землячка — Осиповым.

Русалка привезла из Женевы экземпляры выпущенной там книги Ленина «Шаг вперед, два шага назад».

Ленин с большим удовлетворением глядел на то, как эта брошюра переходила от делегата к делегату. Ведь делегаты эти были не лидерами, а рядовыми комитетчиками-практиками. Им предстояло, вопреки меньшевикам, эсерам, анархистам, вопреки буржуаз-

ным демократам, учить массы находить верный путь к освобождению, руководить массами в запутаннейшей обстановке.

Его единогласно избрали председателем, и он повел съезд строго, с такой четкой аккуратностью в расходовании времени, что в дневнике, заведенном тут же, начал отмечать выступления делегатов с точностью до полминуты. Слушая выступающих, он намечал, в какой области лучше всего использовать товарища: Землячка — организатор, Постоловский — пропагандист, Джапаридзе — боевик, Лядов и Красиков — агитаторы...

Председательствуя, Ленин успевал выступать, писать проекты резолюций, участвовать почти во всех комиссиях, редактировать в перерыве газеты.

В своих речах он связывал отдельные факты в единую картину жизни страны. Из душного зала он как бы открывал окно в большой мир, и первая российская революция, еще несмелая, сумбурная, но уже близкая, живая, воодушевляла этих людей здесь, за границей. Придет же радостный день, не может не прийти!

Накануне закрытия съезда, после заседания, Ленин вышел на улицу. В туманном Лондоне день выдался на редкость веселый, солнечный. Гремели omnibusы. Прохожие, радуясь хорошей погоде, разговаривали громко и оживленно.

Ленин глубоко вдохнул свежий воздух, смешанный с дымом и влажным дыханием реки, остановился на углу, пошел дальше.

Он направлялся к Хайгетскому кладбищу.

На могиле Маркса, куда пришел он, была простая и строгая гранитная плита. Ленин положил на нее цветы.

В Севастополе, куда лейтенант Шмидт вернулся из трехдневной поездки в Киев, бастовали портовые рабочие, объявившие в ответ на петербургский расстрел политическую стачку. На площади, почти у самого Морского собрания, моряки начали собираться группами вместе с членами матросской «центральной» — подпольного комитета, куда входили партийные и беспартийные передовые черноморцы, — и большевистской организации. Забастовали не только портовые рабочие. Крестьяне из деревни Саблы, недалеко от города, безземельные, называвшие свою жизнь «сахалинской каторгой», разгромили помещичью экономию. Из царского имения Ливадия рабочие, протестуя против петербургского расстрела, вывезли на тачке дворцового управляющего и заявили ему: «Скоро и самого прокатим!»

«Кто же он, что он за человек, этот сам?» — спрашивал себя лейтенант Шмидт.

Лейтенант еще недавно, как рабочие-питерцы, шедшие ко дворцу с петицией, хотел верить, что царь стоит выше корыстных интересов помещиков, капиталистов, генералитета, что он больше, чем его министры, озабочен благом всего государства и может пойти народу навстречу. И вот он, этот гвардейский полковник, «самодержец всея Руси», встретил безоружный народ свинцом...

Значит, не на кого и не на что надеяться народу, только на собственные силы!

Лейтенант слышал, что эта мысль овладела тысячами умов, что осенью, когда корабли выйдут на учение в море, готовится восстание. Оно должно было стать толчком к возмущению на всех кораблях, но командующий Черноморским флотом вице-адмирал

Чухнин, почуяв настроение команды, приказал начать учение раньше, чтобы оторвать матросов от рабочих Севастополя. Корабли, среди которых был и броненосец «Князь Потемкин Таврический», ушли раньше срока в Тендровский залив.

Это затруднило выполнение плана матросской «центральной», но не отменило его, и Шмидт жил предчувствием того, что произойдет осенью.

А как же другие морские офицеры? О чем думали они? Шмидт много раз пытался говорить с ними, убедить их, что нельзя стоять в стороне, когда льется кровь и на войне, и дома...

Одним из них был лейтенант Ставраки, товарищ Шмидта по морскому корпусу.

В Петербурге, выйдя в мичманы, жили они вместе, в одной комнате, у вдовы-чиновницы на Васильевском острове. Ставраки уже тогда начал замечать неприличествующую военному моряку мечтательность Шмидта. Он не показывал товарищу своего отчуждения, но в душе крайне озлоблялся. Ему казалось, что Шмидт считает себя высшей, чем он, натурой.

И все же они продолжали жить вместе до женитьбы Шмидта, когда затаенная злоба Ставраки прорвалась наружу.

Вот чем завершились благородные стремления Шмидта! Вот к чему привели его идеи о гуманном отношении к обездоленным и угнетенным! К женитьбе на проститутке...

— На ком женился? — с нескрываемым злорадным торжеством воскликнул Ставраки. — Да эта уличная девка съест тебя, слюня, с потрохами!

Однажды, встретившись со Ставраки у Морского собрания в Севастополе весной девятьсот пятого года, Шмидт сказал:

— Ну, хорошо, Миша. Ты молчишь. Проходишь мимо. Ты делаешь вид, что не замечаешь того, что происходит... Но неужели тебе непонятно, что вы, кадровые офицеры, подрубаете сук, на котором сидите? Он скоро надломится, и вы полетите в бездну. Надо понять, чего хочет народ. Надо быть вместе с ним.

Ставраки взглянул на него испуганно и ускорил шаг.

— Бегством не спасешься,— продолжал Шмидт,— нет, не спасешься.

Шмидт пошел за ним. Чтобы убедить его, он попробовал рассуждать с точки зрения его же интересов и заговорил с ним как офицер с офицером, как человек, которому дорога честь морского мундира.

— Ну, хорошо,— говорил он,— мы с тобой давали морскую присягу быть верными трону. Ты ведь сам говоришь, что присяга руководит всеми нашими поступками. Так ведь, да? Но взгляни, что происходит. Рушится все старое. Все сейчас заговорили, даже те, кто был нем и покорен. Петиции, резолюции, требования, угрозы... Страна, народ заговорили. Молчим только мы, офицеры. Кто довел страну до губительной войны? Казнокрады, тупицы-сановники. Вот об этом и надо сказать царю. Надо сказать открыто и честно, что совесть не позволяет нам, морским офицерам, быть опорой для предателей. Разве, выполняя волю Стесселей, Рожественских, Треповых, Куропаткиных, Дубасовых, мы не отворачиваемся от народа, не ставим государя, которому хотим служить, в ужасное положение? Ведь что же получается? Штатается

трон, страна охвачена революцией. Долг присяги обя-
зывает нас сейчас довести до сведения царя, что мы,
императорский флот, не пойдём по велению преступ-
ных царедворцев против своего народа. Ты слышишь,
Миша?

Голос Шмидта звучал твердо. Может быть, он сам
еще верил в то, что если флотские офицеры подадут
сейчас Николаю II петицию, то за ними последуют
и другие военные, и тогда царь уступит и страна бу-
дет спасена.

— Мы много кричим о нашей чести, а где она? —
продолжал он доказывать Ставраки. — Надо утвердить
ее честным и правдивым словом. А то негодня обга-
рят наш морской мундир народной кровью. Слышишь,
Миша?

На площади, за которой открывалась, сливаясь с
морем, легкая воздушная колоннада Графской при-
стани, Шмидт остановился и вопросительно взглянул
прямо в невозмутимое лицо Ставраки.

— Нет, не слышу. И не хочу слышать, — сухо от-
ветил Ставраки. — Я слушал тебя только потому, что
мы товарищи по морскому корпусу. Но берегись!

И Ставраки, повернувшись спиной к Шмидту, ис-
чез за тяжелой дверью Морского собрания.

Так было и с другими офицерами, когда Шмидт
пытался заговаривать с ними. Но он не терял на-
дежды. Не сегодня, так завтра. Поймут.

Ведь народный протест все ширился. Вслед за пор-
товыми рабочими забастовали в Севастополе почтовые
служащие, железнодорожники, грузчики, рабочие
консервных, табачных, кожевенных заводов, как в
других городах, как во всей стране. К городу стяги-
вались войска с артиллерией. Полиция и охранка
организовали «черные сотни» из мясников, лабазни-
ков, городского отребья. Но стачки продолжались.

В порту было тихо. Не гудели гудки на вокзале. На длинной Екатерининской улице были закрыты двери почтовой конторы. Вечерами не горел свет. Не звенел и трамвай, веселый севастопольский трамвай с легкими, открытыми и зимой и летом ярко-желтыми вагонами, совершавшими бег по кольцу трех улиц: Екатерининской, Большой Морской, Нахимовского проспекта. В городе работала только хлебопекарня.

И во всем этом Шмидт видел не остановку жизни, а ее движение, и эту жизнь, а с нею надежду пробудили рабочие в дни, когда, казалось, не было исхода.

Он перестал посещать Морское собрание и часто бывал на сходках, подружился с несколькими рабочими. Уже завязывались у него с ними товарищеские отношения. Должно быть, еще немного дней — и он стал бы среди них своим, соприкоснулся бы с организациями, определил бы свою близость к революционной партии. Но как раз в это время миноносец № 253, на котором он служил командиром, был назначен стационаром на Дунай, и лейтенант ушел на нем в Измаил, в «измаильскую ссылку», как он говорил. Иначе и нельзя было назвать эту командировку.

В Измаиле узнал он, что в Тендровском заливе, под Одессой, в которой вспыхнула всеобщая забастовка и происходили столкновения с войсками, началось восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Преждевременное это восстание, не ожидавшееся осенних учений, к которым решено было приурочить одновременное выступление нескольких судов, было обречено на неудачу.

И победа восставшей команды, и поражение ее произошли так молниеносно, что Шмидт не успел еще разобраться во всем событии, но он сразу почувствовал в нем нечто огромное, притом решающее и его личную судьбу.

— Нашего брата офицера бросали там с борта в воду,— осторожно заговорил он на миноносце со своим помощником.— Что ж, может быть, это справедливо?

Помощник вытянулся как стрела. Напряженно поглядел на командира. Промолчал.

— Ход истории неизбежен,— продолжал Шмидт,— в народе нарастает гнев... Когда мы пойдем это? Пора прислушаться. Надо прислушаться к голосу людей. Ведь... Ведь, быть может, это возмездие...

Сдержанная улыбка пробежала по лицу помощника. Он процедил сквозь зубы:

— Едва ли.

Шмидт подошел к нему ближе.

— Вы сомневаетесь? — спросил он.

— Да. Сомневаюсь.

Шмидт отвернулся и поглядел на бушующие волны, несущиеся к румынскому берегу — туда, куда уходил восставший броненосец.

На миноносце № 253 некоторые офицеры радовались поражению восставшего броненосца, другие пожимали плечами, отмалчивались.

И Шмидт еще резче ощутил черту, отделявшую его от этих людей. Только на матросских лицах читал он другое, близкое. Он знал, что команда жадно прислушивается к каждому слову о восстании и с трудом скрывает свое сочувствие ему.

— «С вами! — думал Шмидт, глядя на матросов. — Я с вами!»

4

Известие о восстании на «Потемкине», дошедшее в Швейцарию, было неясным, во многом неверным. 36 Важно было узнать все во всех подробностях. Париж-

ские газеты блуждали между правдой и ложью, что случалось в последнее время часто, когда сообщали они о революционном брожении в России. Ненадежна была информация «Трибюн де Женев».

Раздумывая о том, кого бы послать к потемкинцам, Ленин перебирал в памяти эмигрантов, рвущихся из Женевы домой, на подпольную работу, и остановился на одном из них: Васильеве-Южине.

Этот человек жил в эмиграции давно и, как многие из русской колонии, тяготился своим положением. Недавно он ходил к «Ильичам» и просил отправить его на родину и только собрался снова идти к ним, как увидел Ленина на пороге своей комнаты.

— Дело срочное и наиважнейшее, — сказал Ленин. — Вам, товарищ Южин, нужно возможно скорее, лучше всего завтра же, выехать в Одессу. Ведь вы долго работали там. Вы и родом оттуда?

— Оттуда! — радостно воскликнул Васильев-Южин и спросил, в чем заключается задание.

Оно было очень серьезным. По газетным сведениям, броненосец «Потемкин» находился сейчас в Одессе. Надо, чтобы восстание моряков было использовано как можно лучше для общего дела. Васильев-Южин должен был во что бы то ни стало попасть на броненосец. Убедить матросов действовать решительно и быстро. Хорошо, если удастся немедленно высадить десант. В крайнем случае не останавливаться перед бомбардировкой правительственных учреждений. Захватить город. Немедленно вооружить рабочих и самым решительным образом агитировать среди крестьян, бросив на эту работу как можно больше наличных сил одесской организации. В прокламациях и устно призывать крестьян захватывать помещичьи земли и соединяться с рабочими для общей борьбы.

Ленин с трезвой деловитостью говорил о том, что Васильеву-Южину казалось самой смелой фантазией.

— Надо захватить в наши руки остальной флот,— продолжал Ленин,— большинство кораблей, вернее всего, примкнет к «Потемкину».

Ленин хотел немедленно выехать в Румынию, чтобы ждать миноносец из Одессы и прибыть на нем к восставшим.

— Я буду подробно извещать вас о ходе событий,— ответил Васильев-Южин,— пришлю за вами в Румынию, если дело пойдет хорошо, не только миноносец, а даже крейсер или броненосец.

На следующий день Васильев-Южин выехал из Женевы курьерским поездом через Австрию в Россию. Границу он переехал спокойно, потому что в кармане его лежал заграничный паспорт на чужое имя. Жандармы осмотрели его бумаги и вещи бегло, не подозревая, что у него в мундштуке папиросы лежала тонкая бумага, исписанная химическими чернилами, на которой значились все тайные явки и адреса, и что другие документы — письма, написанные на маленьких листках бисерным почерком, планы, указания — были заделаны в каблуке ботинка.

Но когда Васильев-Южин приехал в Одессу, броненосец «Князь Потемкин Таврический» уже ушел из порта.

В городе было введено военное положение. Порт был пуст. Пусты были и улицы. После похорон матроса Вакуленчука, убитого на броненосце, люди сидели по домам.

Отгремел оркестр над гробом Григория Вакуленчука, руководителя матросской «централки». Спокойный, выдержанный, волевой матрос, он только один раз потерял свое спокойствие и за это поплатился жизнью.

Потемкинское восстание он предложил начать лишь по прибытии броненосца в Тендровский залив, но когда началась расправа над матросами за отказ есть червивое мясо, он призвал товарищей к оружию и был смертельно ранен офицером на борту корабля.

На явке никто не мог подробно рассказать о том, что произошло на броненосце, и почти никого не было в явочной квартире. На Дерибасовской улице на одном из зданий Васильев-Южин увидел брешь от снаряда, пущенного с броненосца. Еще дымились руины портовых сооружений.

Через несколько дней стало известно, что броненосец ушел в Румынию. Из Севастополя Чухнин выслал против него эскадру. «Потемкин» пошел ей навстречу и, приготовившись стрелять, поднял боевой флаг. Но к броненосцу присоединилось несколько других кораблей, отделившихся от эскадры, и Чухнин приказал остальным вернуться в Севастополь. Эскадру надо было преследовать, потемкинцы не сделали этого, и момент был упущен. Пришлось уходить за границу.

Судно встало во главе восстания, будучи менее подготовленным, чем другие. Немногочисленная организация большевиков броненосца в самом начале восстания не сумела в должной мере повлиять на ход событий, не открыла матросам ясной перспективы борьбы. К тому же, путались под ногами и всячески мешали делу находившиеся в матросской среде меньшевики, эсеры и анархисты.

И все же революция началась и продолжалась. Перешедший на ее сторону броненосец вынужден был уйти с поля боя, но дух его не был побежден. Какова бы ни была его дальнейшая судьба, он стал символом революции, доказательством ее негнимо-мой воли,

От румынских берегов броненосец направился было в Феодосию, чтобы, пополнив там запасы, идти обратно в Констанцу. Он блуждал по волнам, лишенный угля и воды, окруженный врагами, и наконец вынужден был пристать к чужому берегу и сдаться румынам.

«Сколько трагической поэзии в судьбе этого скитальца, дни и ночи обреченного носиться по далеким морям, одинокого, отрезанного от друзей, преследуемого врагами,— писала большевистская газета «Пролетарий», выходившая в Женеве.— Зловеще смотрят убийственные жерла пушек, день и ночь стоит на часах зоркая стража, каждую минуту готова команда идти в бой. Враг не решается подойти к этой плавающей крепости. Нет приюта и отважным. Берег враждебно отталкивает их от себя, грозя гибелью, и только море, не знающее цепей рабства, протягивает братские объятия этим борцам за свободу, вышедшим на морской простор из Севастополя».

Глава третья

Манифест

1

Севастополь жил новой жизнью. Кончились крепостные будни. Это ощущало и юное поколение севастопольцев.

В комнате сына Шмидта Жени часто собирались товарищи по реальному училищу, приходившие спорить и решать волновавшие их вопросы. Мальчики переходили в столовую, откуда голоса их доносились в кабинет шумнее и звонче.

Отрываясь от занятий, Шмидт с улыбкой вслушивался в эти звонкие голоса.

Во время чтения запрещенных брошюр и книжек мальчишки часто звали его к себе для того, чтобы он разъяснил им что-то, о чем возникал спор, и во всем он подробно разбирался вместе с ними. Кружок самообразования, как и родительский комитет в реальном училище, был его детищем. Незаметно он руководил кружком, набрасывая его программу, принося мальчишкам со своей полки «Прогресс, его закон и причины» Спенсера, «Что такое прогресс» Михайловского и другие книги.

Не было между отцом и сыном ни тайн, ни недоумений, оба верили друг другу, но иногда Женья не соглашался с отцом, и тогда отец начинал осторожно искать пути к этому рано озлобившемуся юноше, понимая, что сын в том опасном возрасте, когда перед ним встают мучительные вопросы, завершенные одним, извечным и труднейшим: как жить? И отец старался следить за движением этой души, чтобы не проглядеть, не пропустить самое важное.

— Ты что? — тревожно спрашивал он, замечая угрюмый взгляд сына.

И понимал, что настроение сына отражает также настроение его друзей.

Один из них, Боря Логранд, дома и на улице веселый и шумный, молчаливый и тихий на собраниях, всегда сидел в углу, подальше от лампы, в тени, отбрасываемой абажуром. Слушая товарищей, он иногда быстро записывал что-то в своей записной книжке и, забывшись, стучал карандашом по столу, а когда кто-нибудь оглядывался на стук, густо краснел и торопливо шептал:

— Прости, пожалуйста.

В последнее время он заметно нервничал: ему предстояла осенняя переэкзаменовка по математике, хотя учился он хорошо и считался способным учеником. Переэкзаменовка ему была дана по вине учителя математики Артемова, который невзлюбил мальчика. Был этот педагог настоящим человеком в футляре, защищен черными очками, носил глухо застегнутую шинель или мундир с темно-зелеными бархатными петлицами, фуражку с околышем такого же цвета, зимой суконную, летом в белом чехле, держался прямо, тупо глядел перед собой неподвижным холодным взглядом.

Борю Логранда, пришедшего на переэкзаменовку, он встретил строго, пошевелил усами, развалился на стуле у кафедры, высоко закинув ногу на ногу. По тесно сдвинутым бровям и по тому, как долго не снимал он очки, можно было догадаться, что настроен он мрачно, еще более мрачно, чем всегда. Тишина, наступившая в классе, стояла долго, и Артемов наслаждался ею, сладко смежая глаза, пока Боря, сидевший во втором ряду, не поднял руку.

— Прошу экзаменовать меня вне очереди, — проговорил он. — Нездоровится сегодня.

— Та-ак... — протянул Артемов, старательно прожеывая усы. — Нуте-с, хорошо. Идите-ка сюда, Логранд.

Подойдя к доске, Боря вытянул девятый билет. Артемов замахал руками так, что из рукавов мундира его вылезли крахмальные манжеты. Быстро засовывая их назад, он воскликнул:

— Нет, будете отвечать не по билету!

Он задал вопрос. Боря перелистал учебную программу, и, не найдя там заданного вопроса, недоуменно поглядел на учителя.

— Бросьте программу, — сказал тот.

— Она выдана для справок. Я имею право.

— Что-о? Право? Если я приказываю, надо подчиняться. Бунтовать умеете? Слушаться не желаете? Ну-ка, решайте тогда другую задачу.

Другая задача была еще труднее и тоже не предусмотрена программой. Мальчик побледнел. Едва стоял на ногах. Он долго глядел на мелок, а не на доску.

— Я... я не могу так...— проговорил он, тяжело переводя дыхание.— Надо по билету.

— Это что? Протест? — выкрикнул Артемов.— Не позволю.

Боря отошел от доски и, приблизившись к Артемову, широко размахнулся и ударил его по лицу.

Хлопнул дверью, выбежал в коридор, где стояла такая же тишина, как в классе. В полузабытьи, оставившись у стены, не оглядываясь, он быстро выхватил из кармана новенький «бульдог», который носил с собою в последние дни, как член городского отряда самообороны, приложил к сердцу и выстрелил.

Через полчаса, когда в реальное училище прибежал отец Бори Логранда, круглый и румяный мужчина, мальчик был уже мертв. С громким плачем бросился к трупу этот всегда веселый человек, любивший жизнь, отец похожих на него одиннадцати сыновей, которых в городе знали все. Припав к мертвому сыну, Логранд без конца повторял:

— Боже мой... Боже мой...

И вдруг выкрикнул туда, в сторону директорского кабинета и учительской, где притаилось растерянное начальство:

— Вы! Это вы его убили!

Через два дня Борю Логранда несли по улицам в красном гробу. Надписи на лентах венков выражали

гнев и горе: «Жертве произвола», «Жертве школьного режима», «Жертве самодержавного строя в школе»...

Ученический духовой оркестр играл «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Гимназисты и гимназистки, реалисты, взявшись за руки, шли под дождем до самого кладбища. Красные полотнища свисали и с балконов, и с окон, распахнутых настежь, и с трамвайных вагонов, прервавших езду по маршруту, пока за гробом шли жители окраин, ученики начальных школ. Не было учителей реального училища.

Женя Шмидт шагал рядом с отцом. Лейтенант шел медленно, глядя себе под ноги, на мокрые и грязные камни мостовой. Рука его лежала на рукоятке кортика.

Возвращаясь с кладбища, он остановился на углу Большой Морской улицы, у городского клуба, привлеченный большой афишей: «Литературный вечер писателя Александра Ивановича Куприна. Чтение отрывков из новой повести «Поединок»».

Он прочитал эту повесть недавно, тотчас же по выходе книги, и, взволнованный судьбой подпоручика Ромашова, думал о том, что не может стать действительностью мечта людей бездеятельных. И хотя чувствовал он в себе нечто общее с Ромашовым, не был, не хотел быть ему духовно близким.

До начала литературного вечера, на котором петербургскому писателю предстояло прочитать главы из повести, оставалось всего лишь четверть часа, и Шмидт, в чем был, в забрызганном грязью кителе, поднялся на второй этаж, за кулисы, где перед выступлением сидел за маленьким круглым столом писатель, знакомый ему по портретам.

— Вы Александр Иванович Куприн? — спросил Шмидт.

— Чем могу служить?

— Спасибо за «Поединок»! — произнес Шмидт. — Благодарю вас, Александр Иванович. В Ромашове я узнал немного себя, — продолжал он, волнуясь, — но вы помогли мне лучше себя понять и не повторить жизнь вашего героя.

Со всей силой им овладело впечатление, возникшее во время чтения повести, напомнившей ему молодые годы, когда был он гардемаринном, мичманом, страдавшим, как Ромашов, от косности и пошлости окружающих.

Куприн, вероятно, вспомнил и свою молодость, глядя на этого морского офицера.

— Да я и сам был таким... немного таким, как мой Ромашов, — сказал он, внимательно разглядывая лейтенанта, — это были мои мысли. Если я помог вам... Нет никого дороже для нашего брата, чем читатель.

Крепко пожав руку писателю, Шмидт быстро повернул к вестибюлю. Куприн, поглядев ему вслед, повторил про себя его прерывистую и странную речь.

— Какой-то удивительный, какой-то необыкновенный этот офицер! — подумал он вслух.

2

Семнадцатого октября, после похорон Бори Логранда, лейтенанту Шмидту передали слух, пришедший из Петербурга. Он бросился чуть не бегом в конец Екатерининской улицы, туда, где она круто спустилась к вокзалу, в редакцию газеты «Крымский вестник». Там он прочитал еще пахнущую свежей типографской краской телеграмму, помчался в типографию и расцеловался с наборщиками. Кто-то из них взглянул на неизвестного морского офицера насторо-

женно. Но был офицер так растроган и чист в своей радости, что недоверие к нему сразу же прошло.

Телеграмма возвещала о царском манифесте, дарующем свободу российскому народу:

«Мы, божьей милостью Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем верным нашим подданным...»

И дальше в манифесте перечислялись «дарованные» свободы — свобода слова, печати, собраний, личная неприкосновенность, — все то, к чему русские люди стремились поколениями, от восстания декабристов, от герценовского «Колокола», народнического «хождения в народ», за что умирали на виселицах и на каторге, чего жаждал и он, Шмидт, еще тогда, когда был гардемаринном и печатал на гектографе отрывки из «Исторических писем» Миртова.

Из типографии он пошел к Нахимовской площади. Улицы уже были полны людей, собиравшихся в кучки, слышались ликующие возгласы, выкрики. И часто вырывалось изумительное слово, такое опасное еще только вчера:

— Товарищи!

На улицах появились рабочие морского завода и порта, горожане, слободские жители, приплывшие к городу на казенных баржах.

На углу Екатерининской и Нахимовского проспекта, у здания Морского собрания, над толпой трепетали красные флаги. Два оркестра, гражданский и флотский, грянули вразнобой «Марсельезу». Шмидт снял фуражку и пошел за толпой, ощущая себя ее честицей. Девушки запели «Варшавянку». Он шел все вперед, размеренно отбивая, как на параде, шаг, высоко поднимая голову с развевающимися волосами.

достном удивлении, примыкали затем к колоннам и шли дальше, к Историческому бульвару. Шмидт не чувствовал усталости и не замечал косых взглядов, которые бросали на него проходившие по улицам офицеры. Никто из них не снял фуражки, не улыбнулся, не примкнул к шествию, а один, в низко надвинутой на лоб фуражке, подойдя к Шмидту, спросил, растягивая презрительную улыбку на коленном лице:

— Скажите, лейтенант, почему играют французский, а не русский гимн?

Шмидт узнал капитана второго ранга Славочинского.

— Почему? — переспросил Шмидт. — Потому что.. Потому что русский гимн славит царя, а французский славит народ и вовет народ к победе.

— Странное объяснение! Вообще странно. Ходят по улицам. Поют революционные песни. Ей-богу, не понимаю.

— Манифест читали? — спросил Шмидт.

— Читал.

— Снимите фуражку.

— Лучше вы наденьте свою.

— Нет! — твердо сказал Шмидт.

— Смотрите не пожалейте.

Потом к манифестации присоединилась и другая толпа, пришедшая откуда-то снизу, из-под каменных лестниц, соединявших улицы, разбросанные этажами одна над другой, из кривых тупиков и переулков прибрежной стороны. Среди картузов замелькали и шляпы с узкими полями, и котелки, и чиновничьи фуражки, и кепи.

Толпа увлекала Шмидта дальше, к гостинице «Ветцель», напротив Музея Севастопольской обороны, откуда с каменных тумб глядели жерла старин-

ных пушек. Встав на какой-то ящик, Шмидт крикнул:

— Товарищи! Свободные граждане! Наступает великий час освобождения...

Придерживая пашку, сопровождаемый ротой солдат под командой капитана, сквозь толпу протискивался к ораторам полицмейстер. Он не кричал, не угрожал, а лишь «убедительно просил» разойтись. И вдруг он замолчал, вытянулся в струну и застыл в испуганном недоумении. Произошло неожиданное: воинский начальник, приехавший в карете на дутых шинах, приказал солдатам отойти и зычно объявил, что «согласно манифеста его императорского величества» граждане могут собираться, где угодно, потому что теперь свобода.

— Свобода! — выкрикнул Шмидт. — В таком случае, товарищи, идемте к тюрьме. Освободим политических заключенных.

Нелепым и неправдоподобным казалось то, что севастьяпольская тюрьма, за которой начиналась голая степь, была сложена из такого же белого камня, как другие городские дома, где жили благополучные горожане. Из степи и с моря дул у тюрьмы ветер, место это считалось самым холодным в городе.

Сегодня впервые со дня постройки тюрьмы она была потревожена мощными и ликующими возгласами толпы, над которой реяли красные флаги.

Вот и пришел долгожданный час, когда распахнутся наконец железные двери, и узники, схваченные на рабочих сходках, на кораблях, в казармах, выйдут из своих камер и сольются с манифестантами!

Шмидт на одно мгновение увидел себя со стороны: вот идет он, счастливый, и вместе со всеми кричит:



— Выходите, граждане!

Ему хотелось сейчас музыки, грома, звонких криков.

И вдруг уже совсем близко, почти у самой тюремной стены, он увидел в степи идущих ровной линией с винтовками наперевес солдат Брестского полка. Уже слышен был гулкий топот одновременно шагающих ног. Виден был какой-то фельдфебель или унтер-офицер, который рассекал ладонью воздух, после чего раздавались выстрелы, — по-видимому, стреляли в воздух. Колонна смешалась, остановилась, начала колебаться во все стороны, люди толкали друг друга, не зная, что делать. Солдаты были уже близко.

Откуда-то из-за угла примчался всадник. Это был полковник Думбадзе, командир сорок девятого Брестского пехотного полка. Шмидт его знал. Рука полковника, затянута в белую перчатку, поднялась. Послышалась команда, и раздался залп, а за ним крики и стоны.

Вдруг из строя, надвигающегося на толпу, выбежал солдат, вскинул винтовку и выстрелил в Думбадзе. Пуля пролетела мимо, лошадь шарахнулась в сторону. На солдата бросились, схватили его и повели в степь так быстро, что Шмидт успел заметить только его расстегнутую гимнастерку.

На следующий день Шмидт пошел на Большую Морскую, в городскую думу, — туда, где гласные, «отцы города», собравшись на чрезвычайное заседание, обсуждали вчерашнее событие.

Городской голова Максимов, из купцов-толстосумов, плотный чернобородый мужчина, говорил о вчерашнем расстреле, упомянув и о пролитой крови у Зимнего дворца в начале этого года, и о потемкинцах, и о забастовке, все еще продолжающейся. При этом он оставался, как всегда, важным, осанистым и, кроме

сожаления о случившемся, ничего не выразил в своей речи.

Шмидт выслушал его рассеянно, а когда голова умолк, вдруг подошел к нему и, став рядом, прочел обращение, написанное вчера вечером:

— «...Дума должна отнестись с презрением к виновникам вчерашнего избиения. Это презрение дума должна запечатлеть на память потомкам следующим образом: на пергаменте написать акт о вчерашнем зверском, бессмысленном, преступном избиении безоружной толпы, мирно праздновавшей великий момент объявления политической свободы русского народа. Имена убийц вписать в акт, и этот памятник должен быть навсегда вывешен на стене в зале городской думы».

— Обещали освободить заключенных! — продолжал Шмидт, передавая из рук в руки городскому голове обращение. — И вместо этого стреляли в народ!..

Городской голова съежился, хотя и старался оставаться спокойным. Он посмотрел на морского офицера, которого знал как представителя родительского комитета в реальном училище, и понял, что лучше с ним не спорить.

— Что ж, будем протестовать, — вяло проговорил голова.

Гласные — купцы, домовладельцы, экспортеры — молча закивали.

Шмидт увидел теперь, что пришел сюда не первым. Стол городского головы был завален петициями от солдатских делегатов, матросов из флотских полукองтемпаний, от окраинных жителей, требующих, чтобы дума протестовала против расстрела у тюрьмы в тот день, когда была дарована свобода собраний, и на эти петиции господа гласные думы смотрели с тем же смущением, с каким только что слушали Шмидта.

Тогда при общем молчании Шмидт собрал все эти обращения к думе, унес их с собой и решил передать в газету.

На другое утро он вернулся в думу, пошел с несколькими гласными к коменданту крепости генерал-лейтенанту Неплюеву. Завидев у двери делегатов и знакомых «отцов города», генерал поднялся на встречу, пожал каждому руку и проговорил добродушным басом:

— Прошу, господа.

У него были красные щеки и седые усы, под которыми временами двигались губы, точно он что-то жевал. Рука, теребившая кант на мундире, слегка дрожала не то просто от старости, не то от волнений, переживаемых в последние дни.

Глядя на него, Шмидт даже пожалел его и окинул сочувственным взглядом небольшую старческую, согбенную годами фигуру.

— Да? — услышал он вопросительный возглас.

Рука генерала поднялась к уху. Он был глуховат.

— Мы пришли просить вас, ваше превосходительство, освободить город от войск, — проговорил Шмидт, — они бесчинствуют, стреляют в народ.

— Как? — спросил Неплюев, удивленно выпучив воспаленные глаза и разглядывая незнакомого морского офицера.

— Удалите из города войска.

— Вы, собственно говоря, кто?

— Лейтенант Шмидт.

— Благодарю покорно за верную службу отечеству! — воскликнул комендант крепости. — Бунтовщиков в морском мундире я еще не видал.

— Кроме того, ваше превосходительство, просим удалить полицмейстера.

— Еще что?

— Все, ваше превосходительство.

Если и хотелось генералу крикнуть, затопать ногами на дерзкого лейтенанта, то он этого все же не сделал. Не то время. Олух этот Думбадзе: в такой день стрелять в толпу! Лучше пойти на уступки, чем нарваться на больше осложнения, которые еще не известно как воспримут в Петербурге. Скрепя сердце генерал сказал, стараясь не глядеть в глаза Шмидту:

— Что ж, хорошо. Распоряжусь. Можете идти, господа.

На следующий день из города вывели солдат Брестского полка. За порядком следила народная охрана — патрули рабочих с красными нашивками на рукавах.

Глава четвертая

«Три святителя»

1

Вторая за неделю похоронная процессия! Когда она остановилась на кладбище, там уже была вырыта большая общая могила, в которой предстояло похоронить убитых у тюрьмы. Мертвых опустили в яму. Быстро вырос над нею холм, засыпанный фарфоровыми и живыми цветами с траурными лентами. В кладбищенских аллеях, среди памятников и мавзолеев, теснились люди.

Шмидт медленно поднял голову, взял горсть земли с холма и, держа ее в ладони, громко, чтобы все слышали, сказал:

— У гроба подобает творить одни молитвы, но да уподобятся молитве слова любви и клятвы, которые я хочу произнести вместе с вами. Когда радость переполнила души тех, кого мы сейчас хороним, то первым их движением было идти к тем, кто томится в тюрьмах, кто боролся за свободу и теперь, в минуту общего великого ликования, лишен этого высшего блага. Они, неся с собой весть радости, спешили передать ее заключенным, они просили выпустить их — и за это были убиты. Они хотели передать другим высшее благо жизни — свободу и за это лишились самой жизни. Страшное, невиданное преступление! Великое, непоправимое горе! Теперь их души смотрят на нас и вопрошают безмолвно: «Что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишились навсегда? Как вы воспользуетесь свободой? Можете ли вы обещать нам, что мы — последние жертвы произвола?» И мы должны успокоить смятение душ усопших, мы должны поклясться им в том. Клянемся им в том, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав. Клянусь!

Высоко над головой взлетел этот крик: «Клянусь!» Никогда до этой минуты Шмидт не знал, что может так громко говорить и что будут слушать его тысячи. Он лишь воплотил свою боль в слова. И когда он увидел множество глаз, направленных на него, и услышал единое дыхание людской волны, то наполнился еще бóльшим волнением и повторил, поднимая кверху руку:

— Клянусь!

И каждый человек в толпе ответил ему:

— Клянусь!

И так, стоя с поднятой рукой, он продолжал:

— Клянемся в том, что все силы, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение свободы на-

шей, в том, что свою свободную общественную работу мы всю отдадим на благо рабочего неимущего люда.

— Клянемся!

— Клянемся в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равные, свободные братья великой свободной России, в том, что доведем дело до конца и добьемся всеобщего избирательного, равного для всех права.

— Клянемся!

Когда Шмидт умолк, к нему бросились все стоявшие впереди, начали обнимать его. Те же, которые были далеко позади, не видели, а только слышали его, взобрались на кладбищенскую ограду, на деревья, на крыши мавзолеев, чтобы увидеть. Какой-то солдат целовал его, не смущаясь офицерским чином оратора, и несвязно шептал в растерянном возбуждении:

— Ваше благородие... Ах, ваше благородие... Верное слово сказали, ваше благородие...

Домой Шмидт вернулся поздно, когда над городом сгустилась осенняя сумеречная тьма. В предвечерней тишине звуки стали глухими и тревожными. Только в море чуть слышный прибой дышал спокойно и ровно.

Уставший до изнеможения Шмидт бросился в постель, но сна не было, и он долго лежал, вслушиваясь в ночь, в шум моря. Он зажег лампу и посмотрел на часы. Половина второго. Повернувшись лицом к стене, он крепко закрыл глаза, но сна все не было.

Послышался звонок. Вошел вестовой со срочным пакетом. Лейтенанта вызывали немедленно в штаб командира флота вице-адмирала Чухнина.

Штаб был недалеко. Надо было спуститься с горы по каменной лестнице на Чесменскую улицу. В самом начале ее, на крутом асфальтовом спуске, обрывав-

шемся у Мичманского бульвара, возвышался нужный ему дом.

Во всех окнах ярко светили огни. Шмидт зажмурился от света, от хрустального блеска люстр.

Начальник штаба адмирал Данилевский, увидев лейтенанта, поглядел не на него, а куда-то поверх него, в стенку, и обратился не к нему, а как будто к кому-то другому, незримому, спрятанному за стеной.

— Нет, вы подумайте! — воскликнул адмирал, разговаривая с невидимкой. — Нет, вы только подумайте...

— Лейтенант Шмидт прибыл по вашему вызову, ваше превосходительство.

Адмирал не глядел на него. Он продолжал взывать к тому, кого не было в комнате.

— Понимаете, — говорил он невидимому, — офицер императорского флота! Дворянин, присягнувший престолу и отечеству! Сын доблестного адмирала, участника севастопольской кампании! Вы понимаете?

Шмидт молча стоял у стола, поглядывая туда, куда глядел Данилевский, — на стену, обитую голубым шелком.

— А? — воскликнул адмирал, продолжая разговаривать с кем-то неведомым. — На нем флотский мундир. Отец его командовал эскадрой. А он... Он... — И вдруг, резко повернувшись к Шмидту, точно только сейчас заметил его, спросил прямо, в лоб, поднимая ладонь к глазам, чтобы лучше его разглядеть, и слегка запинаясь от гнева: — Это что за клятва на кладбище?

— Манифестом дарована свобода слова, — ответил лейтенант, смело глядя на адмирала.

— Да как вы смели произносить какие-то клятвы, когда на это еще нет высочайшего соизволения?

— Но ведь манифест...

— Рано-с... — прошептал адмирал, приложив палец к губам. — Рано пташка запела.

Шмидт слегка растерялся. Значит, дело не в Думбадзе? Значит, одной рукой дают свободу, а другой отнимают и свободу, и жизнь?

— Нет, он ничего не понимает! — воскликнул адмирал, снова обращаясь к третьему лицу. — Вы подумайте, выступить на кладбище с р-р-революционной клятвой... перед чернью! Которая его же самого... его самого растерзает, когда придет время! Нет, вы только представьте себе! — И снова круто повернувшись к лейтенанту, он спокойно и холодно договорил: — Вы еще здесь? Можете идти.

Шмидт, повернувшись по уставу, ушел. Спускаясь по широкой лестнице, он увидел, как мимо него промелькнул лейтенант Ставраки.

9

Утром во флигель, где жил Шмидт, пришел молодой морской офицер с двумя конвойными солдатами и вежливо и несколько испуганно проговорил:

— По распоряжению главного командира вы арестованы.

Шмидт, взяв полотенце и зубную щетку, распахнул дверь в соседнюю комнату и сказал сыну:

— Женья, я скоро вернусь.

Сын проснулся сразу. Он все понял. Неужели он останется и без отца?

Денщик Федор стоял почему-то с сапожной щеткой в руке, глядел на пришельцев и уныло спрашивал:

— Куда уводите, не пойму никак?

Шмидта повели в штаб морской дивизии. Странное, неведомое раньше чувство охватило его: он шел под конвоем, его, офицера, вели матросы... Они смущенно переглядывались, стараясь не глядеть на арестованного. Им также непривычно было это делать.

— Ведите правильно,— проговорил арестованный,— по уставу.

— Разговаривать не полагается,— остановил его начальник.

Это тоже удивило нижних чинов. Прохожие глядели вслед Шмидту. Он усмехнулся, подумав, что вот его ведут сейчас так, как вели политических каторжан, и эта мысль наполнила его гордостью, смешанной с сожалением о том, что он ничего не успел сделать, чтобы быть достойным Владимирки.

Из штаба морской дивизии его направили на броненосец «Три святителя». На Нахимовской площади, недалеко от колоннады Графской пристани, легкой и сквозной, арестованный задержал шаг и перевел дыхание.

«Не так ли уводили в степь солдата пехотного Брестского полка, стрелявшего в Думбадзе?»

На броненосце «Три святителя» Шмидта провели в конец палубы, в железную клетку без воздуха и света, куда сажали серьезно провинившихся матросов. Несколько раз в день к ней подкрадывался командир броненосца, седой старик, и заглядывал в щелку. Узник или сидел на койке или стоял посреди камеры, вглядываясь в темноту. Вечером старик вошел к нему и сказал:

— Хвалю вас за доблестное поведение. Не буяните, не подстрекаете, но... Чего? — воскликнул он вдруг.— Чего они хотят от меня? Почему я должен вас стеречь? Мало у меня своих забот? Почему вас направили именно на мой корабль?

И ушел, сильно хлопнув дверью.

Узник, шагая по клетке, куда воздух проникал через трубу, думал о странном происшествии: арестован он как раз тогда, когда объявлена была «неприкосновенность личности». Следовательно, вызвавший его днем на допрос, долго искал пункт, который позволил бы обойти амнистию, и не нашел его. Чухнин написал на докладной записке следователя: «Мне нет дела до общественной деятельности лейтенанта Шмидта. Им совершено воинское преступление, за которое он должен нести ответственность».

От огромного мира, бурлящего на берегу, заполненного живым движением и светлым ожиданием, Шмидта отделила железная дверь. Не так ли томится сейчас и тот солдат девятой роты Брестского полка, который промахнулся, стреляя в Думбадзе? Когда совершится то, что ожидает его?

Солдату предстоит казнь через повешение. Приговор военно-полевым судом произнесен и до сего времени не приведен в исполнение лишь потому, что не нашли палача. По всей стране к тюрьмам летят телеграммы, но такого отчаянного негодяя, кто бы на это согласился, не находится, и солдат, запертый, быть может, в такую же самую тесную клетку, ждет своей участи. Он умрет, как умерли потемкинцы, которых обманом заманили в Россию из Румынии, чтобы убить.

Женя принес отцу одно из тех писем, которые этот солдат Брестского полка, еврей Яков Войтевлянер, писал из тюрьмы севастопольским рабочим — писал справа налево, древними письменами, какими писали его предки. Письма эти, доставленные неизвестно кем на волю, переводились подпольной организацией на русский язык, и Женя их жадно читал.

«Дорогие товарищи! Братья и сестры! — писал солдат. — В то время как стреляли в Феодосии в наших товарищей — матросов с «Потемкина», и я видел, как они падали ранеными и мертвыми от наших рук, у меня потемнело в глазах. Меня тоже заставляли стрелять. С тех пор я начал думать: кто я? Разве я противник свободы? Нет! Я решил. Я должен принять участие в мести за жертвы последнего времени, павшие в кровавой борьбе. Вот почему я стрелял в Думбадзе, когда меня пригнали в Севастополь из Феодосии. В военно-полевом суде меня спросили: «Что ты сделаешь, если мы тебя выпустим на свободу?» «Попробуйте, — ответил я, — и вы через час не увидите полковника живым».

С того дня, когда его отец произнес слова клятвы над могилой жертв реакции, Женя Шмидт замечал в училище, среди одноклассников, нечто новое и в выражении их лиц, и во взглядах, устремленных на него, и в разговорах с ним.

Лица теплели, когда он проходил мимо. Ему пожимали руки. Шли за ним. Ждали, что он скажет, хотя он по-прежнему был неразговорчивым.

Часто, проходя по улицам, он слышал имя своего отца, произносимое с уважением, с признательностью. А после ареста лейтенанта Шмидта имя его гремело. Все чаще и громче слышны были возгласы: «Свободу лейтенанту Шмидту!»

Севастопольские рабочие избрали лейтенанта Шмидта в Совет рабочих депутатов своим пожизненным депутатом.

Депутат рабочих! Рабочие признали его своим, увидели в нем товарища. Никогда не пожалеют они о своем выборе. О, он сумеет умереть за них, если придется. Депутат рабочих! Нет, не был он одиноким в своем плену на броненосце «Три святителя».

Сын, сообщивший ему эту радостную весть, принес отцу фотографическую карточку ЗИР — Зинаиды Ивановны.

От Зинаиды Ивановны давно не было писем. Почта по-прежнему не работала. Неделю назад, в середине ноября, задолго до манифестации, Шмидт послал ей телеграмму в Киев: «Мы отрезаны друг от друга. Поглощен общей работой. Не забывайте меня, будьте со мною в эти грозные дни».

Она ответила телеграммой: «Работайте, я около вас».

Знает ли она о его избрании? О его аресте? Нет, конечно, ничего не знает. Письма ведь не идут. А не попытаться ли ее известить? Когда он попросил сына подумать об этом, тот промолчал и только поблелел и смутился. Его очень беспокоила переписка отца с незнакомой женщиной; даже на почтальона, старого солдата — ветерана русско-турецкой войны, когда он приносил в сумке надушенные письма, Женя смотрел неприязненно. Быть может, к тревоге за отца у мальчика примешивалась и ревность, глухая, неосознанная ревность?

И все же он отправил в Киев телеграмму: «Папа выбран рабочими пожизненным представителем. Арестован, не волнуйтесь».

3

Через три дня Женя принес отцу все письма ЗИР за последние две недели, задержавшиеся где-то в пути и прорвавшиеся разом, все до единого.

Шмидт читал их жадно, не отрываясь, ощущая, что жажда его не совсем утолена. Читал он и зачерк-

нутые кое-где строчки, ища в них чего-то еще более важного и, может быть, именно потому зачеркнутого.

Что будет с ним дальше? Конечно, его выпустят. Но, может быть, дадут отставку, без прощения и без пенсии... Ну что ж, он снова зачислится в торговый флот, найдет там друзей среди офицеров и матросов и снова уйдет с ними в дальнее плавание. Он ужаснулся этой мысли. Уходить в океан надолго? Нет! Он останется на берегу! И на берегу ему дела хватит. Поедет в Киев. Потом в Москву. В Питер. Договориться бы там о слиянии всех левых партий в «великую единую российскую партию социалистов-рабочников»! Слить бы все потоки в едином течении, чтобы забурлило оно, смыло всю ложь, все зло, уничтожило угнетение человека человеком, и тогда придет желанный социалистический строй.

«Кто прикоснулся умом и душой к социализму,— размышляя, записал он твердо выношенную мысль,— как к великой исторической неизбежности, как к точной научной истине, тот останется борцом за эту идею навсегда, тот не оторвет глаз своих от горизонта, на котором уже видится свет грядущей правды».

Был он человеколюбом, уязвленным в самое сердце несправедливостью, болеющим болью ближних, стремящимся сделать свободной и светлой жизнь в стране, которую замучил царь. И возвращаясь мыслью к Зинаиде Ивановне, он старался в своей мечте о будущем слить свою любовь к ней с любовью к людям.

В одном из писем ЗИР спрашивала: «Вы пишете о себе, что «мне в бою будет не до вас». Что это значит?»

«Да,— отвечал он ей сейчас мысленно,— это значит, что я люблю вас нежно и сильно и все же повторяю это. А если бы не было этого... Если бы могли вы

отвлечь меня от боя, то сами бы потеряли уважение ко мне... И я был бы тогда недостоин вашей любви. Но и без вас мне трудно...»

«Ну хотите, я стану перед вами на колени? — продолжал он мысленный разговор. — Не до писем мне будет, когда каждую минуту придется ценить как золотую, когда начнется бой... Но и в эту минуту вы будете со мной как источник силы, смелости, мужества, веры. Дайте мне счастье. Дайте мне хоть немного счастья, чтобы я был силен и вами, и не дрогнул, не сдался в бою...»

В другом письме ЗИР выразила беспокойство по поводу участи, которая ожидает его.

Она думала о нем! Это наполняло его сердце восторгом.

«Я не мистик, нет, я самый положительный реалист, — писал он ей, — но признаю, что наши отношения и наша связь на расстоянии могут быть причислены к явлениям исключительным и пока для науки непонятым».

Женя на следующее свидание пришел очень возбужденный. Сегодня он встретил на улице бабушку Сашу, тетку отца. Она рассказала, что подошел к ней на улице рабочий и спросил: «Правда ли, что лейтенант Шмидт ваш племянник?» «Правда!» — ответила бабушка. Рабочий низко поклонился ей и сказал: «До земли кланяюсь вам, если он вам племянник. Он наш почетный гражданин».

Кто-то из местных журналистов, рассказал еще Женя, записал «клятву на кладбище», и эта речь ходит по рукам во всем городе, потому что в газете «Крымский вестник» запрещено было ее напечатать. И еще новость: в прошлое воскресенье на рабочем митинге постановлено послать депутацию к Чухнину с требованием освободить отца.

На прошлой неделе на «Трех святителях» старик-командир, капитан первого ранга, свирепо и грубо разговаривал со Шмидтом, совершенно позабыв, что арестант пока не разжалован и нельзя обращаться с ним, как с лишенным всех прав.

Судебный следователь, найдя наконец статью, по которой можно было бы судить лейтенанта, все же оставался в большом затруднении: кто же перед ним? Он долго жевал губами, качал головой с белыми висками и, прерывая допрос, произносил нечто невразумительное, путаное, непонятное. А временами недоуменно спрашивал лейтенанта:

— Вы теперь кто?

...Кто он? Гражданин. Социалист. Сын отечества, болеющий встревоженной душой за угнетенных, страдающих, измученных жестоким строем, который стремится он сломать.

— Нда-а-а...— продолжал следователь, разводя руками.

Заточение продолжалось. Еще строже начал относиться к узнику старик-командир, в первые сутки с такой неохотой принявший возложенную на него должность тюремщика. Все больше озлобляясь, он запретил получать и отправлять письма. Запретил свидания со всеми, кроме сына. Но чем более жестокими были его поступки, тем ласковее становилось его лицо, заросшее седым мохом над глазами, там, где полагается быть бровям, и тем нежнее спрашивал он умиленным голосом:

— Будете бунтовать?

Однажды Шмидт присел к доске, выдвинутой из стены, и начал быстро писать на бумажных листках, принесенных тайно сыном. Он писал записку к офи-

церам-севастопольцам, прося у них широкой огласки его положения, чтобы добиться гласного суда над ним.

«Вся Россия поняла,— писал он,— что верить ни во что больше нельзя, что кровь льет этот кровавый зверь Трепов, как не лил ее даже Малюта Скуратов, что теперь надо нечто новое, массовое и решительное.

Тактика всех партий переменилась резко. Вера исчезла раз и навсегда. Новым выжиданиям не было места. Отуманенная безнаказанностью опричнина вешала детей, избивала у всех на глазах и старого и малого. Русские люди в отчаянии вступили в героический, неравный бой с врагом.

Безоружная интеллигенция постановила осуществить свои права, не считаясь ни с чем, ни с какой опасностью.

Эта интеллигенция с голыми руками пошла на врага, который был вооружен с головы до ног.

Массовыми убийствами и избиениями отвечали опричники.

Вся наша раздушенная гвардия перешла в полицию, отдалась в окровавленные руки Трепова.

Началось нечто небывалое, и исход был бы один — полное массовое убийство всех образованных людей в России, а затем новые десятилетия рабства, голода и невежества со стороны народа, новые хищения, тушеводство и зверство со стороны власти.

Вот что ждало родину!

Но недаром были полвека труда и пропаганды социалистов, недаром они умирали на виселицах, в крепостях и на каторге.

Недаром все оставшиеся и уцелевшие несли свои силы и знания в народ. Мы сами не заметили, как росла и крепла сознательность русского рабочего. Мы сами не могли взвесить и даже приблизительно су-

дить, какую могучую сознательную силу дали нам погибшие армии бойцов, передавая в народ свои знания.

Слава погибшим.

И вот, казалось, стоит на краю гибели залитая кровью родина и нет исхода.

Но вот выступает сплоченной силой наш русский рабочий...

Измученный мир со страхом ждал, что будет.

По могучему телу великана — России пробежала предсмертная конвулсия и потрясла народы мира.

Кровью обливалось сердце русского человека, ожидая исхода. Остановились известия, и в этой могильной тишине, полной неизвестности, умирал великан.

Невиданное, не имеющее себе подобного в истории всех времен и народов зрелище.

Самоубийство великой измученной нации!

И только вы, господа офицеры флота, «достойно» носящие свой мундир, продолжали в эти неслыханные дни жить своими спектаклями и цензовыми интересами. Что вам до родины, что ей до вас! Вы в своей величии не заметили, как прошла на глазах всего измученного мира Великая Российская Забастовка.

Я не был с вами, я давно отказался от входа в ваше Морское собрание.

Каждый же встречный на улице в эти страшные дни рабочий был мне друг и брат. Я с ними жил, они спасали Россию.

Вот наконец пронеслась в эти великие исторические дни первая весть, что противник ослабевает.

То была весть о свободе собранной при всяких ограничениях и затруднениях.

Потом опять все стихло, и напряженное ожидание снова охватило измученных русских людей, мучительное ожидание победы...

Пришло 17 октября, не ослаб русский рабочий. Спасена, отвоевана Россия...

Теперь, когда я пишу эти строки, наступило уже 30 октября, а манифест все еще скрывается от матросов и не прочтен на броненосце команде, да, может быть, так и не будет прочтен никогда».

— Никогда! — воскликнул Шмидт.

Он увидел в железном отверстии двери неподвижно стоящую фигуру командира и крикнул:

— Откройте!

Тяжелая дверь раскрылась.

— Ась? — спросил старик.

— Где манифест? — спросил его узник.

— Это какой же?

— Царский указ о свободе.

— Извините, господин лейтенант, не расслышал сразу, прошу прощения. Какой манифест?

— Тот самый.

— Ага, понимаю, понимаю. Значит, тот самый.

— Зачем вы скрываете его от своей команды? Такую радость!

— Так ли я вас понял, извините меня, старика? Так, значит, радость? Да чему же тут радоваться? Чего вы ликуете? — С этими словами командир хлопнул дверь и отошел от глазка.

Шмидт снова начал писать. Он изложил на бумаге только что происшедшую сцену.

«Да, господа офицеры флота, — продолжал он, — я сам понимаю, что вам этому акту радоваться не приходится. Большинство из вас боится света, гласности, хотя и тверды вы в повинении ближайшей над вами власти.

Да, страшная была жизнь, и воспоминания о ней кошмаром давят душу. Все, что умело лгать, воровать и не думать, все это нагло лезло навверх и командо-

вало не только кораблями, но и всем народом русским. Все, что стремилось к нужной, живой работе, все, что мыслило и чувствовало, все было подавлено и считалось или полупреступным или прямо преступным.

Кто не был раб, тот был преступник. В этой обстановке гнета, насилия и произвола преступны мы были все, кто хотел искренно работать.

Мне становится весело, несмотря на неприглядность коробки, в которую засадили меня, когда я представляю себе лица наших судей, которым я объявляю, что по политическим убеждениям я убежденный социалист. Ведь я жил среди них, и они не подозревали, что между ними, прикрытый лицемерием, живет злодей и агитатор!»

Освобождение с «Трех святителей» пришло на следующий день. Из-за невралгических болей, на которые он пожаловался, узника перевели в госпиталь. Но и там пробыл он только несколько часов. Он покинул госпиталь, отпущенный на все четыре стороны. Уходя, он встревожился: не таится ли в этом внезапном освобождении некая новая угроза! Но потом узнал, что причина ареста оказалась неподсудной, как ни бился следователь доказать обратное. Статья, по которой предстояло суровое осуждение, отменена.

Что это значит? Манифест вошел в жизнь?

Нет! Это люди, избравшие его своим депутатом в Совет, рабочие, освободили его из железной клетки, забросав начальство письмами, требованиями, напечатанными в газетах,— и не только рабочие-севастопольцы, но и питерцы, и рабочие других городов.

На другой день после своего освобождения он послал в редакции демократических газет телеграмму.

Ее напечатали на первой полосе: «Спасибо, товарищи, я снова в ваших славных рядах!»

Почти одновременно с отправкой этой телеграммы пришло от Чухнина секретное предписание, запрещающее Шмидту появляться на сходках и митингах и заниматься агитацией. «В противном случае,— сообщал Чухнин,— вы будете немедленно арестованы и отданы под суд... за невыполнение лично вам данного приказа».

Пришлось повиноваться. Подав рапорт о болезни, Шмидт заперся дома, на Соборной, потому что знал: выйдя на улицу, не сможет молчать на митингах, а если заговорит, то будет оторван преждевременно от жизни, меняющей свой облик каждый день. Сидя дома, он продолжал делать свое дело, обращаясь с письмами к революционным организациям и отдельным людям и отвечая на письма, и в этой работе почти не знал отдыха.

В письмах его спрашивали: кто он? Каковы его политические взгляды?

Кто он? Революционер. Республиканец, как каждый социалист. Но находит пока возможным «проведение в жизнь социалистических форм при демократической конституции в выборном начале, проведенном по всем ступеням власти». Есть ли опасность террора? Да, есть, и Россию может от нее избавить только созыв Учредительного собрания. Но террористическая опасность идет от власть имущих, а не от революционеров.

Вопросы в письмах заставляли Шмидта пересматривать всю свою жизнь, но полной ясности все равно не получалось.

С социал-демократами он был не во всем согласен, потому что считал «теорию экономического материализма неполной и недостаточно разработанной». Не

принимал он и тактику социал-демократов в крестьянском вопросе.

Он не был согласен и с эсерами, которые, по его мнению, неправильно относились к рабочему вопросу. И, разумеется, он не мог примкнуть и к кадетам, хотя ему казались приемлемыми некоторые их либеральные требования.

Он стремился лишь к тому, чтобы все революционные и оппозиционные партии слились в одну.

«Я предлагаю, товарищи, такое единение,— говорил он в своем напечатанном в газетах воззвании по поводу «Великой всероссийской партии социалистов-работников»,— так как только соединенными силами нашими Россия выполнит свою всемирно-историческую миссию и поведет за собой культурный мир к социалистическому строю».

Взгляды Шмидта на политическую программу удивляли своей наивностью и вызывали недоумение. Об этом ему писали резко и прямо, а такие письма огорчали его. Но он оставался при своих эклектических воззрениях, не имея решимости отказаться от пережитков «субъективной социологии», от народнического полулиберализма, который в нем укрепился силой личного обаяния Николая Константиновича Михайловского, влиявшего на его ум в первые годы сознательной жизни.

4

Чухнин сперва боялся даже мысли об освобождении Шмидта. Когда на его стол легла петиция рабочих Морского завода, он воскликнул в негодовании:

— Этого не будет!

Но месяц назад Шмидт, собираясь вернуться в 69

торговый флот, подал Чухнину рапорт об отставке, и это оказалось теперь вице-адмиралу очень кстати. Вот случай избавиться от бунтаря! Он выйдет в отставку в звании капитана второго ранга.

Хоть и досадно ему было давать такой легкий и почетный выход революционеру, но нельзя же и осудить его за бунтовщические поступки в дни, когда даже городские гласные, господа с положением и имущественным цензом, вели себя крайне сомнительно... Кроме того, трудно предвидеть, не найдется ли среди разбушевавшейся черни кого-нибудь, кто захочет отомстить Чухнину лично. В последние дни всюду — на улицах, где проезжал он в карете, в Морском собрании, в штабе, на пригородной даче «Голландия» — опасность подстерегала его, казалось, за каждым углом.

Даже думские гласные пришли вчера во дворец и потребовали, как рабочие, освобождения бунтовщика. Один из них, худой мужчина в пенсне на черном шнурке, произнес кощунственные слова.

— Имейте в виду, ваше высокопревосходительство, что ежели вы желаете спокойствия в городе, то именно он, Петр Петрович Шмидт, его внесет. Именно ему следует поручить успокоить население, потому что его уважают и верят ему.

— Это как понимать? — спросил вице-адмирал. — Таких господ, как он, судить надо!

Но так и не решился приказать, чтобы подобрали статью для лейтенанта. Указания и законы, издаваемые в дополнение к манифесту, поступавшие ежедневно из Петербурга, были противоречивы — одно дополнение уничтожало другое.

Помимо политической враждебности, была еще причина, вызвавшая в Чухнине бешеную ненависть к Шмидту.

Восемь лет назад, в 1897 году, когда он, Чухнин, младший флагман, командовал на Дальнем Востоке эскадрой, всем тихоокеанским флотом командовал дядя лейтенанта — адмирал Владимир Петрович Шмидт, обошедший Чухнина наградой в наказание за жестокое обращение с матросами: Чухнин, бывало, подвешивал провинившихся матросов на корабельной рее, и они висели на поясах по несколько часов.

Когда Владимир Петрович умер, Чухнин перенес ненависть с дяди на племянника, служившего на Дальнем Востоке. Он неотвязно придирался к молодому Шмидту, делал ему замечания даже при матросах, всячески старался вызвать его на дерзость и подвести под суд. Но это не удалось. Вскоре Шмидт вышел в запас и поступил на службу в Добровольный флот, на пароход «Кострома», где плавал вторым помощником капитана.

Вот и сейчас... Не давался в его руки этот человек!

На второй день после освобождения из тюрьмы и госпиталя Шмидт подал Чухнину просьбу о разрешении ему присутствовать на митинге на Приморском бульваре.

И опять вице-адмирал воскликнул: «Этого не будет!», уверенный, что все-таки это будет.

5

Зинаида Ивановна опять замолчала. Может быть, письма из Киева перехватывают жандармы? Не было ответа и на телеграмму.

Каждый раз — вчера, позавчера, — когда почтальон Авдеич, старый солдат, говорил, проходя мимо:

«Пишут, ваше благородие!», лейтенант ощущал в сердце пустоту. Наконец Авдеич положил на стол письмо со штампом киевского почтамта.

Прочитав письмо несколько раз, Шмидт начал писать тут же ответ.

«Боже мой, отчего вас нет около меня? — спрашивал он. — Хоть бы раз увидеть вас... Когда мы будем вместе? Когда это будет? Зачем жизнь так жестока ко мне и никогда не давала мне того, на что я имею право? Зачем я связан и прикован к месту и не могу вырваться к вам?»

Он спрашивал, как она проводит время. Продолжает ли заниматься в переплетном кружке и переплела ли уже том Лассаля? Продолжает ли посещать кружок кройки и шитья? Пусть займется лучше писанием длинных писем. Как нужны они ему сейчас!

Но не только о своей любви к ней писал Шмидт.

«Горько, душа надрывается, Зинаида Ивановна, за что, за что они так мучают нашу родину? За что они, преступники, издеваются над несчастным изгнанным народом? Горе, горе страшное в душе, и возмездия, одного возмездия требую я. Нет казней, достойных этих злодеяний. Буря в груди и жажда смерти или своей или врага, так жить нельзя, надо кончить эти русские муки бесконечные».

Написав эти строки, Шмидт поднялся и подошел к окну. Осенний ветер стучался в окно. Волны внизу, под каменными лестницами, грохотали и накатывались на берег.

— Уехать! — проговорил вслух Шмидт.

Решение это, назревавшее долго, прорвалось окончательно, и уже не думал он ни о чем, кроме отъезда в Москву через Одессу и... Киев.

— Ну вот, Женья! — воскликнул он, доставая из кладовой чемодан. — Уезжаю.

— Надолго, папа? — растерянно спросил Женья.

— Это... неизвестно.

Женья потоптался на месте, продолжая с тоской глядеть на отца, и тот дрогнул, и голос его сорвался, когда он проговорил:

— Милый мой... милый мальчик. Обещаю вернуться поскорее. Как же ты... Как же я буду без тебя?

Он обнял сына, поцеловал его в лоб, улыбнулся, заблестели у него слегка помокревшие глаза, и он воскликнул:

— Ну будь мужчиной! Ведь нам уже приходилось разлучаться. Время сейчас наступает такое, что не могу сидеть на месте. Скоро вернусь, очень скоро, милый.

Глава пятая

Крейсер первого ранга

1

С того момента, когда командиром Черноморского флота был назначен вице-адмирал Чухнин, сменивший Скрыдлова, ушедшего на японскую войну, матросам стало труднее жить. Новый командир, которого матросы втихомолку называли Чухной, измучил муштрой. Высоко поднимался экипажный шар, показывавший предписанную форму одежды, и матросы переодевались иногда по два-три раза в день, — случал-

лось, в бушлаты при морозе, в шинели в теплую погоду. Боцманы и унтер-офицеры избивали матросов и сажали в карцер за малейшую провинность. С бескозырок срывали ленты, показавшиеся более узкими, чем полагалось, с ног стаскивали ботинки не казенного фасона, срывали цепочки с часов, кольца с рук.

На берегу было не легче. Матросов останавливали на каждом шагу офицерские патрули.

— Стой! Куда идешь? Билет!

И того, кто вышел на берег без особого билета, придуманного Чухниным для «благонадежных», отправляли под конвоем на гауптвахту.

— Хам, мужик, дурак! — только и слышали матросы, случалось, в сопровождении зуботычин.

Жалобщиков наказывали — ставили «смирно» на баке, а то и стегали линьками. За протест отправляли в тюрьмы и на каторгу.

На первом чухнинском смотре матросы должны были пройти перед вице-адмиралом церемониальным маршем, но парад не удался. Черноморцы, согнанные со всех экипажей, не стовариваясь, сбили шаг и, налетая друг на друга, пошли не в линию, а зигзагами. Это был первый протест против Чухны.

— Здоро-о-ово, братцы! — выкрикнул Чухнин на первом смотре, но возглас его остался безответным.

— Счастливо оставаться! — зло выкрикнул он после смотра, но и на это последовало общее молчание.

Чухнин уехал. Матросов перестали пускать не только на Нахимовский проспект, но и на Приморский бульвар, у входа поставили патруль и вывесили черную доску с большими белыми буквами: «Строго воспрещается собак вводить и матросам ходить»...

Начались обыски и аресты. Стало тесно в плавающих тюрьмах, в арестных домах, в дисциплинарных батальонах. Но матросы все чаще уходили на тайные собрания на Малахов курган, в Херсонесский монастырь, в Инкерманские пещеры. Прекратилась выдача пропусков по личным делам, и матросские жены, жившие в низеньких домишках невдалеке от флотских казарм, уже не ждали по вечерам мужей, спешивших еще недавно домой то с поленом дров, то с куском казенного хлеба,— были это семейные, сверхсрочные, призванные во флот из запаса...

Крепким замком закрылись ворота экипажа. Матросам, как арестантам, не позволяли выходить дальше внутреннего двора, а тех, которые были отпущены, тщательно обыскивали при возвращении. Письма на родину просматривались ротными командирами, а «сомнительные» послания регистрировались в особых книгах.

Тяжкое иго Чухнина чувствовалось во всем, и некуда было спрятаться от произвола, убивавшего в людях все лучшее. Почти каждый думал об одном: надо спастись. Но как?

Матросский гнев разрешился однажды разгромом казарм флотского экипажа на Корабельной стороне. В каменных казематах, оставшихся со времен севастопольской войны, матросы ломали столы, шкафы, ружейные пирамиды, железные койки, прикованные к полу, рвали в клочки портреты командиров, выбивали и выбрасывали во двор оконные рамы, разбивали водопроводные трубы, и вода заливала казармы.

На крейсере первого ранга «Очаков», спущенном недавно со стапелей, матросы собирались в трюмном отсеке, единственном укромном месте на корабле. Там была конспиративная квартира, где обсуждались новости, доносившиеся из экипажей.

Машинист Гладков, призванный недавно и зачисленный в тридцать второй флотский экипаж, был слесарем. В городе Наровчате Пензенской губернии он работал с отцом в железнодорожных мастерских. Рано он познакомился там с запрещенными книжками.

— Странно получается! — восклицал он в трюмном отсеке. — Служим честно, а живем плохо.

Гладков еще до призыва и задолго до войны не знал, как ему действовать: идти ли ему на военную службу? Товарищи по небольшой подпольной социал-демократической организации советовали ему идти во флот и работать на кораблях.

Гладкова зачислили в учебный отряд. Там он быстро нащупал связи, которые привели его в матросскую «централку», связанную с крымским социал-демократическим центром в Симферополе. В центре получалась из-за границы ленинская «Искра», потом большевистская газета «Вперед», издававшаяся в Женеве.

Новобранцев никуда не выпускали из учебного отряда, а если это и случалось изредка, то на берег, в город их сопровождали стрелки из старослужащих.

— Которые в город, становись! — возглашали стрелки, выстраивая новобранцев во фронт.

И так, строем, вели новобранцев по улицам на Корабельную или Северную сторону — пить водку или в публичный дом.

Позже, когда Гладкова перевели из учебного отряда на крейсер, он вместе со всеми начал получать из боцманских рук чарку водки и уходить на берег по увольнительной уже без стрелка, а когда возвращался, вахтенный офицер, подойдя близко, кричал ему:

— Дыхни!

И — удивительное дело — он получал тут же выговор за то, что вернулся трезвым.

— Марш назад! — кричал ему вахтенный. — Был на берегу и вернулся сухим. Назад!

Нелегальная литература, посылавшаяся оказией из симферопольского центра, попадала иногда в руки офицеров или провокаторов, хотя Гладков и Карнаухов-Краухов, который также служил в это время на «Очакове», изошрились в переноске литературы, присланной из всекрымского центра. Брошюры и газеты они закладывали в голенища своих сапог, прикрывали их плотно портянками и переходили с берега на корабль, стараясь широко и легко ступать.

Это была та самая литература, которую в Женеве по совету Ленина бережно и тщательно укладывали в картонки для модных дамских шляп.

Гладков отправлял литературу главным образом на те корабли, с которыми не было никакой связи, и там каждый раз старался завести новые знакомства, умело «нащупывая» людей.

Находясь в различных экипажах, подпольщики сходились в разных местах. Медленно и трудно, привлекая новых моряков, увеличиваясь по одному человеку, росла матросская «централка».

Комендор Антоненко, молча слушая Гладкова, сидел в трюмном отсеке неподвижно, скрестив на груди руки, привыкшие к плугу и лопате. Комендор

был екатеринославским хуторянином, жил до призыва во флот в степи, где и пахал, и скотину пас. В степной тишине он рос одиноко, уважая родителей, читая по утрам «Отче наш». Идя за плугом, разговаривал с волами, тянувшими плуг. Он был высокий, стройный, с могучими плечами и мужественным юношески чистым лицом, на котором светились голубые глаза, опущенные черными ресницами. За богатырский рост и силу заслужил он прозвище Самсон.

Восемнадцать лет он женился, родились два сына, один за другим.

Одним из первых новобранцев зачислен он был за рост и фигуру в Черноморский флот, в тридцать второй экипаж.

Уже по пути в Севастополь молодой рекрут, оторванный от хутора, почувствовал горькую тоску. Сиротливо озираясь в вагоне и глядя в окно, за которым плыла земля незнакомая, усеянная крупным белым песком с ракушками, и останавливая потускневший взгляд на незнакомых лицах, спрашивал пассажиров с затаенной печалью в голосе:

— Катеринославские?

Земляков-новобранцев судьба разбросала в разные стороны. На флот ехал он один. Не было их в вагоне, не было и в Севастополе, в огромной каменной флотской казарме, тесно уставленной железными койками.

После строевого учения в том же экипаже, где находился Гладков, Антоненко был зачислен на крейсер «Очаков», но не машинистом, а комендором. С Корабельной стороны он ходил на установку дальнобойных орудий, которые привезли на крейсер питерцы-путиловцы, и впервые увидел этих людей, суровых, с напряженными глазами, слегка обведен-

ными железной пылью, и увидел дальнобойные орудия, стреляющие в людей за много верст. И самым удивительным и непонятным ему казалось то, что он сам будет стрелять из этих пушек. Путиловские рабочие молча возились на палубе крейсера. Раздавался стук молотков. Неясно гудели голоса. В кого же будут стрелять из этих орудий?

Приглядываясь к путиловцам, Антоненко начал замечать и улыбки на их суровых лицах, и блеск в глазах, и румянец на скулах.

— А мы, выходит, сами же эти пушки привезли, — сказал ему однажды путиловец, сидевший рядом в снарядном отделении. — Для войны начальство ставит. Такова, брат, политика жизни.

— Ото ж! — с печальным удивлением воскликнул Антоненко.

Вскоре Антоненко сблизился с питерцами. Распознав в нем натуру чистую и открытую, они тайком совали ему в руки то запретный печатный листок, то брошюру, выпущенную подпольной скоропечатней. Матросы разговаривали с ним, сидя в угловой башне или снарядном отделении. И больше не искал он екатеринославских земляков, потому что земляками оказались теперь и питерцы, и матросы-одногодки из разных губерний. Мир открывался перед ним как неведомая раньше даль. Он уже, казалось, видел эту даль. Слушал Gladкова, которого на крейсере за живость и внутреннее беспокойство называли Сашей-бунтарем.

— Получается странно, — говорил Gladков, обводя товарищей быстрым и беспокойным взглядом, — хотим воли, а живем как в тюрьме...

Старший баталер кондуктор Частник служил во флоте уже около десяти лет, был старше и Gladкова, и Антоненко, на крейсер пришел из другого экипа-

жа, двадцать девятого, был ростом высок, как и Антоненко, но лицо его было более тонкое и бледное, и голос тише. Иллюминатор скупо освещал его большие карие глаза и белые ровные зубы, когда он улыбался. Слушая товарищей, он молчал и медленно бродил взад-вперед.

Матросского счастья Частник успел хлебнуть больше, чем его друзья, собиравшиеся в отсеке. Еще задолго до Севастополя он служил писарем в экипаже, плавал за границей на яхте «Колхида» и знал кое-что о социалистическом учении. Как и Антоненко, он родился в украинском селе, после сельской школы занялся самообразованием, хотел быть учителем. Это была мечта труднодостижимая. Не только в таврическом селе Чалбасы, где он родился, но и во всей округе никто из крестьян не выходил в учителя. Степные таврические жители были пахарями, не знавшими грамоты.

Но мечта Частника сбылась: он стал деревенским учителем и во флот пришел понявшим многое из того, в чем не могли разобраться его односельчане. Дома он выписывал журналы, собрал небольшую библиотечку, из которой привез с собой в зеленом сундучке несколько книжек. Там сочинение Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи» лежало рядом с Евангелием, и Частник с одинаковой серьезностью читал и то и другое. Современные социалистические воззрения сочетались в его уме с евангельским учением. И получалось так, что апостольское учение было для него неотделимым от того, чему учили революционеры.

Так было до недавнего времени, до потемкинского восстания.

80 После восстания, когда провалы начались один за другим, секретарь подпольного Севастопольского



партийного комитета Вороницын начал чаще приходить на «Очаков», в тюрмный отсек.

Придя туда однажды, он достал из кармана почтовый листок, написанный крупным нетвердым почерком. Это было доставленное в комитет письмо матроса-черноморца по поводу казни потемкинцев.

— «Дорогие незабвенные товарищи! — начал читать Вороницын письмо, взывающее к мертвым. — Вас нет теперь в живых, вы спите непробудным вечным сном в сырой могиле. Любя свой народ, вы боролись за его счастье, вы жаждали видеть его свободным. В борьбе за народное благо, в борьбе за народную свободу вы пали жертвой гнусного самодержавия. Спите же, товарищи, спите. Мы, оставшиеся в живых, продолжая наше дело, отомстим за вас. Мы зальем поля родины, которую вы так страстно любили, кровью подлых душителей-убийц. Спите же, дорогие товарищи. Спите, честные бойцы. Час расплаты, час кровавой мести близок. Трепещите же, убийцы. Как змея, вы будете извиваться у наших ног, вы о пощаде будете молить нас. Но нет вам, душители-убийцы, пощады».

Поднялся с места Частник. Попел по тесному отсеку, медленно расправляя плечи. Во всей фигуре его ощущалось сдерживаемое нетерпение.

— Товарищ Вороницын, — проговорил он, — пора выходить наверх. Поговорить с народом.

3

Назначенный на крейсер командиром капитан первого ранга Овод был лентяем и обжорой.

Он предпочитал кораблю Нахимовский проспект, где прогуливался, разглядывая молодых женщин. 81

Тучный, с тяжелой походкой, он неторопливо бродил по палубе и даже на шканцы при спуске флага выходил с опозданием, растерянно глядя по сторонам маленькими заплывшими глазками.

Сущим наказанием для него были те моменты, когда ему приходилось подниматься на мостик, чтобы принять приказы старшего флага или главного командира. Он тогда пыхтел, отдувался, сопел, ждал распоряжения, а когда спускался с мостика, облегченно вздыхал и, вытирая на лице пот, шептал: «Ну и слава богу!» То же самое испытывал он и при спуске флага на молитву, и только при команде «Накройсь!» радостно улыбался, плелся в каюткомпанию, а когда входил туда вестовой, громко восклицал: «Подавай!» — и благоговейно приступал к обеду.

Чухнинская муштра и его изводила. И он уставал от ежедневных «практических» тревог — боевых, минных, пожарных, подводных — и от частых передеваний по сигналу на башне.

- Черные брюки, белая форменка!
- Белые брюки, суконные фланельки!
- Все белое!
- Все черное!

Все это замирающим голосом передавал он команде.

И сам, пыхтя и свистя, переодевался, потому что сигналы одинаково относились и к матросам, и к офицерам. Но он никак не успевал переодеться за три минуты, и часто сидел в своей каюте без брюк, медленно перебирая ворох одежды с золотыми галунами и смущенно думая о том, что ему первым полагалось переодеться, чтобы, поднявшись на мостик, принять команду флага.

Когда потемкинцы восстали, матросы убили командира, и броненосец ушел в море, подняв красный флаг, он, Овод, стоял на палубе своего крейсера, перепуганный, трясущийся от страха, и шептал, торопливо крестясь:

— Господи, помилуй...

После этого он начал бояться и своих, очаковских матросов, прятался в каюте, стараясь встречаться с ними пореже. Не часто он выходил после этого и на проспект и на улицы... Знакомые улицы, пахнущие везде по-разному! К острому запаху моря примешивался то крепкий аромат чая у чайного магазина Сапетова, то густой кофейный запах у магазина Ншан Тер-Карапетяна, то волнующий сырой запах ревелских килек и кавказского сыра у колониального магазина Койчу.

Но эти улицы заметно изменились после восстания. Сгустились на улицах людские толпы. Появились конные разезды. Шумно стало на Приморском и Мичманском бульварах, где на митингах неизвестные в косоворотках выкрикивали пугающее слово «товарищ». С площади видно было, как двигались к Телефонной пристани баржи с портовыми рабочими. С пристани доносились выкрики. Слова заглушал шум, но можно было догадаться, что там, на другом берегу, было так же беспокойно, как на этих улицах...

Овода сместили. Командиром «Очакова» был назначен капитан первого ранга Глизян, более энергичный, чем его предшественник. На крейсере он сразу учуял и тайные шепотки на палубах, и косые взгляды матросов. Ноябрьским утром он собрал команду на левых шканцах, где вместе с кондукторами и кочегарами построились во фронт и некоторые офицеры. Поздоровавшись с матросами, он услышал в ответ нестройное обрывистое восклицание,

в котором невозможно было разобрать ни одного слова.

— Вот как! — закричал он. — Демонстрации? Прекратить!

Кто-то из задних рядов крикнул:

— Время не то.

— Бу-уштовать? В трюм, по местам. Жи-и-иво!..

— Долой командира! — услышал он в ответ.

Тогда Глизиан приказал команде построиться на жилой палубе, но никто не сдвинулся с места. Он прочел матросам телеграмму Николая II, в которой царь пригрозил восставшим, что поступит с ними, как с клятвопреступниками, если они немедленно не образумятся.

— Кто стоит за веру, царя и отечество, пусть остается на корабле, — возгласил Глизиан, — другие могут быть свезены на берег. Ну, кто на берег? Выходи!

Никто не вышел.

— Хорошо! — угрожающе воскликнул Глизиан и тотчас же отбыл на катере на флагманский корабль «Ростислав» доложить о положении на крейсере. Вместо себя он оставил старшего офицера Скаловского.

Тот начал собирать матросов в боевую роту. Среди них оказался и Гладков.

До крейсера доносились смутные слухи о волнениях в экипажах. Стало известно, что митингуют матросы из береговой дивизии, что беспокойно в пехотных полках, и в порту, и на Морском заводе.

Боевая рота очаковцев назначалась для усмирения. Узнав об этом, Гладков взволновался. Дело было не в том, чтобы не стрелять в своих, — вопрос

этот был для него простым и ясным. Важным было другое: уговорить еще трех матросов, отобранных с корабля в роту, отказаться от назначения.

— Нас посылают убивать товарищей,— проговорил он, когда все четверо спустились в трюмный отсек.

— Не пойдем.

И с таким решением Гладков явился к старшему офицеру Скаловскому.

Старший офицер был и умнее, и дальновиднее командира. Выслушав машиниста, он не выдал тревоги ни одним движением и только проговорил:

— Как же так?

— Не пойдем, ваше высокоблагородие! — повторил Гладков. — Ясно?

Слухи с берега шли радостные: выработаны матросские требования, на некоторых кораблях команды сместили командиров. Непокойно было и в войсках.

Гладков пошел к вахтенному начальнику, требуя позволения послать во флотскую дивизию представителей. Вахтенный разрешил послать на берег делегатов. Они отправились в Брестский полк, где происходил большой митинг.

А Скаловский поспешил к Чухнину.

Вернувшись в сопровождении флаг-каптана, Скаловский приказал играть большой сбор.

Команда с офицерами снова построилась на шканцах. Скаловский прочитал приказ Чухнина о временном назначении его, старшего офицера, командиром.

— Прошу сегодня же,— сказал он,— собрать все огнестрельное оружие, а также ударники и свезти в арсенал порта.

Наступило молчание. Послышался легкий свист. 85

Кто-то хлопнул о пол бескозыркой. Артиллерийский офицер, выйдя из строя, предложил матросам сдать винтовки.

— Хлопцы! — воскликнул, нарушая тишину, комендор Антоненко.— Винтовки у нас забирают. В кого ж из них палить будут? В нас?

Антоненко остановил артиллериста, направлявшегося к пирамидам винтовок.

— Куда идете? — закричал он.— Чего забираете? Не дадим.

— Не дадим! — ответили на баке.

От этих ответных дружных возгласов Антоненко почувствовал еще большую смелость. Он побежал к пирамидам, с которых несколько винтовок были уже сняты. Матросы остановились вблизи.

Скаловский, мгновенно оценив положение, приказал поставить оружие обратно.

Он тотчас же отбыл на «Ростислав». Возвратившись через полчаса, собрал офицеров и приказал им съехать на берег. Вечером был подан паровой катер. Поздно ночью офицеры вернулись.

— Что за чехарда? — возмущался Гладков.— Лихорадит их. Путаает чего-то Чухна.

Но снова появился Скаловский.

— Согласны сдать оружие? — спросил он.

— Не сдадим.

— В таком случае,— воскликнул Скаловский с крейсером поступят, как с мятежным кораблем.

Но «чехарда» на крейсере продолжалась: паровой катер теперь непрерывно курсировал к флагману и обратно. Скаловского подменяли попеременно то адъютант Чухнина, то флаг-капитан. Поздно ночью, взойдя на борт крейсера, флаг-капитан поднял команду наверх и спросил ее так же, как спрашивал

— Подчиняетесь начальству? Сдаете оружие?

Кто-то из команды ответил:

— Забирайте хоть сейчас!

Антоненко выбежал вперед.

— Как же можно? Да злыдни ж нас съедят. Забыли «Потемкина»?

Кто выкрикнул «забирайте», Антоненко не знал. Он оглядел знакомые лица товарищей, и все они были одинаково гневные, суровые.

В два часа ночи офицеры, ничего не добившись, отбыли на «Ростислав». На крейсере остался один мичман, исполнявший должность минного офицера.

— Покиньте крейсер! — передали по семафору и ему. — Ни один офицер не должен оставаться на мятежном корабле.

4

Один из моряков с «Очакова», тайно собиравшихся в отсеке, Карнаухов-Краухов, знал лейтенанта Шмидта еще пять лет назад, когда служил под его командой на пароходе «Игорь». Был тогда еще совсем молодым, сдал только что экзамен на штурманского ученика, но уже слышал об этом командире, «учителе Петре», как называли Шмидта молодые матросы.

Лейтенант принимал новичков спокойно. Помахав рукой, позвал их в кают-компанию. Там, усадив всех по местам, он ласково поздоровался и сказал:

— Здравствуйте, будущие морские орлы! Опытных моряков создают океанский простор, смелое плавание, а не стоянки в бухтах и чистка медяшек по расписанию. Нужно уметь бороться со стихией.

Говоря так, он вглядывался в незнакомые лица, как бы пытаясь угадать, найдется ли в этих

людях смелость и отвага. Фуражку он снял, и виден был его высокий лоб с зачесанными назад густыми каштановыми волосами.

Вот таким и запомнил его штурманский ученик.

О лейтенанте знали, что, окончив училище, произведенный в первый офицерский чин, он тотчас ушел с экспедицией на ледоколе «Ермак Тимофеевич» в дальнее плавание, в Арктику, и начальником его тогда был смелый мореплаватель капитан первого ранга Макаров, в будущем знаменитый адмирал.

Это также придавало Шмидту значительность. И радостно было штурманскому ученику выполнять на пароходе «Игорь» его команды.

Получилось так, что «учитель Петр» стал для Карнаухова-Краухова близким человеком: перед тем как расстаться со своим молодым подчиненным, Шмидт, поговорив с ним, вселил в него убеждение, что по-старому жить больше нельзя. И Карнаухов-Краухов нашел путь в революционное подполье. Когда из торгового флота он был призван на военную службу в Черноморский флот, он уже был социал-демократом.

В военном флоте Карнаухов-Краухов долго не мог привыкнуть к службе. Строгость была здесь неслыханная. Боцманы и фельдфебели взыскивали за малейшую провинность, а за опоздание на поверку записывали в черную книгу или отправляли в плавающую тюрьму.

Как только появились революционные листовки, у матросов начались обыски. Вытряхивали даже молоток из тюфяков, вываливали жесткий волос из подушек, переворачивали вверх дном и внимательно просматривали столики, сундуки, кровати.

Но Карнаухов-Краухов не только передавал листовки по назначению. Он сам писал их и тщательно прятал, осторожно обставляя встречи с товарищами по организации. А когда был переведен из экипажа шкипером на крейсер первого ранга «Очаков», тотчас начал искать единомышленников.

Ему удалось найти в Севастополе того, кого он считал своим другом и учителем, лейтенанта Шмидта.

— Входите! — отозвался Шмидт, услышав стук в дверь.

Дверь открылась. На пороге стоял Карнаухов-Краухов. Получив увольнительную на берег, он поспешил в дом на Соборную, где когда-то ему довелось быть.

— А, вот кто! — воскликнул лейтенант. — Садись. Рассказывай, братец. Что у вас на «Очакове»? Как команда?

— Наша команда? — переспросил Карнаухов-Краухов. — Как сказать... Есть сознательные, но мало... С такой темнотой далеко не уйдешь, хотя многие злы на теперешний строй и с трудом его терпят.

— Так... А как ты думаешь, если бы... Ну, если бы повторилось? И не как на «Потемкин» бунт, а открытое революционное выступление? Подумай, Вася. Присоединились бы корабли?

— За «Очаков» ручаюсь. И за некоторые миноносцы. А в остальных не уверен.

— А у меня другие сведения. Партийцы — и эсеры, и эсдеки — говорят, что, кроме «Очакова», можно рассчитывать на «Три святителя», «Ростислав», «Георгий Победоносец». Уж не скептик ли ты? А ну-ка, выкладывай свои доводы.

— Доводы? Пожалуйста. Петр Петрович. Наша организация подсчитала, на кого можно положиться

на каждом броненосце. Оказалось очень мало. Нельзя рисковать. Есть еще надежда на небольшую береговую команду. Вот потому мы, учитывая наши силы, решили пока воздержаться, чтобы не проиграть потом. За это мы проголосовали вчера на явке на сорок второй версте, и мне поручено доложить об этом вам, Петр Петрович.

— Ну, что ж, наверно, вы правы. Я сам так думал, но меня старались переубедить. Согласен, что начинать сейчас было бы преждевременно.

На этом и окончился их короткий разговор.

В позднем часу председатель Совета Вороницын, узнав, что генерал Меллер-Закомельский двинулся с карательным отрядом к городу, предложил взорвать ближайший железнодорожный мост. Вороницын был двадцатилетний юноша в очках, с сутуловатой спиной. Третью ночь он не спал. От бессонницы у него резало в глазах. Он частенько подходил к раковине и обливал голову холодной водой, но и вода его не надолго освежала.

Против взрыва моста никто не возражал, но дело это было трудновыполнимым, и поэтому он очень обрадовался, когда узнал, что к матросам присоединились саперы, которых привел унтер-офицер Барышев. Вороницын побежал по длинным коридорам, нашел унтер-офицера и спросил его сразу окрепшим и повеселевшим голосом:

— Вы Барышев?

— Так точно, товарищ председатель Совета.

— Надо взорвать Камышловский мост.

— Есть.

В тот же час саперная рота под командованием Барышева ушла к Мекензиевым горам.

Вскоре после этого в Совет вбежал матрос в распахнутой шинели, надетой прямо на тельняшку, и заявил, что Чухнин начал объезжать на катере эскадру, угрожая уничтожить мятежный крейсер «Очаков», если он не подчинится начальству.

Вороницын вспомнил, что крейсер этот остался без командира.

Кого же послать туда, чтобы экипаж крейсера выстоял, окруженный врагами? Недолго думал Вороницын. Фамилия того, кто поведет корабль, звенела в эти дни у всех на устах.

Это был лейтенант Шмидт, широко известный после клятвы на кладбище и особенно после ареста на «Трех святителях» не только в городе, но и далеко за пределами его, во всей стране, где с его именем митинговали, протестовали, шли в демонстрациях.

— Шмидт! — повторил это имя Вороницын вслух. — Кто же, кроме него, поведет корабль?

Когда из Совета пришли к Шмидту матросы, он закрыл наглухо дверь в соседнюю комнату, где занимались мальчишки-реалисты, и усадил гостей. Пришли они в тот момент, когда все уже было готово для его отъезда в Москву через Одессу и Киев. Чемодан с книгами и рукописями был закрыт. Денщик Федор недоуменно, с огорчением, восклицал временами:

— У-от куда ж собрался, господи...

Он не любил разлучаться с «его благородием», которого все еще считал мальчиком. Беспокойство всегда охватывало Федора во время командировок лейтенанта.

Собираясь уезжать, Шмидт составил для сына «правила поведения», четко и крупно написанные на

большом листе бумаги. В правилах говорилось, как вести себя в отсутствие отца.

Мысленно Шмидт был уже далеко: он шагал по шумным одесским улицам, которые знал с детства, шагал по Москве, где был только один раз и где предстояло ему скоро познакомиться с новыми людьми.

Был среди посланцев и Петров, высокий, крутоплечий матрос, тот самый, который первым начал мятеж во дворе флотского экипажа и недавно был освобожден с гауптвахты восставшими друзьями.

— Ждем вас, товарищ лейтенант! — восторженно проговорил он. — Просим в Совет.

Шмидт близко подошел к нему и, чувствуя, как теплеют его глаза, спросил:

— Ты... Петров?

— Так точно.

Шмидт пожал руку матроса и поцеловал его. Тот вытянулся перед лейтенантом, как на смотре, и от смущения и неловкости поглядел куда-то в сторону, и лицо его при этом густо порозовело.

С первых же слов посланцев Совета Шмидт понял, что зовут его на очень опасное дело. Крейсер первого ранга, спущенный недавно на воду, не был оснащен в боевом отношении настолько, чтобы оказать противодействие эскадре, если это понадобится. Как опытный моряк, лейтенант сразу оценил положение. Но нельзя терять ни минуты. И очаковцы доверчиво смотрят на лейтенанта, и момент такой напряженный, что раздумывать нельзя и следует немедленно поспешить на помощь к матросам, на крейсер, который уже покинули офицеры.

Раздумье Шмидта было короткое. Возможно, что 92 Чухнин пойдет против крейсера всей эскадрой.

Трудно добиться победы! Но пусть «Очаков» явится примером отваги для других кораблей.

Быстрым порывистым движением Шмидт снял с вешалки шинель. Ровным, легким, торопливым шагом вошел в соседнюю комнату.

— Женя, до свидания!

Сын поднялся.

— Папа, куда?

— Матросы зовут.

— Надолго?

— Не знаю, Женя. Думаю, скоро вернусь. Будь спокоен. И будь здоров.

Часть вторая

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

...Командование «Очаковым» принял лейтенант в отставке Шмидт, отставленный за «дерзкую» речь о защите с оружием в руках свобод, обещанных в манифесте 17 октября.

...Едва ли есть основание ликовать победителям под Севастополем. Восстание Крыма побеждено. Восстание России непобедимо.

В. И. Ленин

Из статей «Войско и революция» и «Чашки весов колеблются»

Глава первая

Очаковцы не сдаются

1

Лейтенант Шмидт вместе с матросами приближался к Совету депутатов и, не дойдя до него, растерялся от внезапных ликующих криков «ура» на огромном плацу. Он никак не мог понять, что случилось сейчас на площади. Почему торжество, почему крики ликования? Но вдруг почувствовал, что отрывается от земли, плавно плывет над толпой. Его несли матросы на крепко сцепленных руках. А когда спустили его на землю, он посмотрел вокруг затуманенными от слез глазами

и такие же восторженные слезы заметил в глазах матросов.

Потом в дивизии, сидя за длинным столом, где заседали депутаты от экипажей и рот, он разглядывал незнакомых людей, среди которых были и две девушки, одинаково одетые в белые кофточки и черные юбки, задержал взгляд на Вороницыне, председателе комиссии социал-демократов, которого все называли по имени-отчеству, Иваном Петровичем, хотя это не шло к его юному, задорно-возбужденному лицу.

— Петр Петрович! — быстро проговорил он, поворачиваясь к лейтенанту и протягивая ему какую-то бумагу. — Значит, дело следующего рода: просим вас командовать крейсером «Очаков».

Шмидт выпрямился, приподнял плечи и внимательно взглянул на Вороницына.

Тот, откинув голову с длинными взлохмаченными волосами, продолжал:

— Просим. Немедленно. Матросы волнуются. Время самое подходящее. Сейчас дам провожатых. Шлюпка стоит у причала. Согласны идти на крейсер?

— Я? — переспросил Шмидт. — Сейчас? Начинать? — И сразу высказал все, что наболело в нем и тревожило его последние дни. — Но ведь восстание не подготовлено. Возглавить мне восстание? Да это значит рисковать жизнями многих и ничего, быть может, не добиться. Я собираюсь в Москву. Все начнется в Москве. Оттуда я вернусь поднимать флот.

Вороницын поднялся и сказал:

— Товарищ Шмидт, вы говорите так, потому что никогда не были в нашей социал-демократической организации. Наступил момент, когда надо действовать. Налицо революционная ситуация. Нельзя ее упускать. Опасно, это все знают. Всегда опасно. Но

сейчас риск оправдан. Массы готовы к бою. Субъективный фактор — это и есть то, за что именно мы с вами в ответе.

Вороницын, сказав так, и сам почувствовал тревогу: эсдековская организация не вела достаточно продуманной и постоянной работы среди матросов, а с тех пор, как был разгромлен последний военный комитет в Севастополе, совсем потеряла связь с кораблями.

Только сравнительно недавно комитет начал восстанавливаться. Работа оживилась после приезда Крамольникова, посланного в Севастополь Лениным.

Крамольников сразу же отправился в порт и на Морской завод. В коротком пиджаке, в кепке-жокейке, сбитой на затылок, с такой же сумкой в руке, с какой ходили на работу рабочие, он был незаметным среди других. Весь его вид говорил о том, что это скромный и простой человек. Влекло к нему рабочих порта и то, что приехал он «оттуда», из самого Петербурга, где все сейчас клокотало и бурлило и где началась общая всероссийская забастовка, присоединиться к которой Крамольников призывал и севастопольцев.

Из порта Крамольников шел во флотские экипажи. Там он оставался до глубокой ночи, а часто и до утра. Матросы политически прозревали медленнее, чем рабочие, а некоторые были враждебны тому делу, к которому он звал их. Среди крестьян, составлявших большинство матросов, были и сыновья кулаков или представителей волостных и сельских властей. Кроме того, агитаторам было труднее попасть на корабли, чем в рабочую казарму. Крамольников добился, чтобы был создан из передовых матросов Совет депутатов, но все же настроение матросов не было достаточно известно.

Об этом думал Вороницын, посылая на «Очаков» лейтенанта Шмидта. Но он отбрасывал сомнения в сторону. Нельзя бездействовать, когда «Очаков», оставшийся без командиров, могут просто расстрелять.

В этот момент вошел караульный. Вытянувшись перед Вороницыным, хотя тот был штатским, он доложил:

— Делегат от флагмана!

Шмидту захотелось взглянуть и на флагманского посланца. Ему хотелось сейчас видеть все, всю происходящую вокруг светлую, радостную путаницу, чтобы разобраться в ней, и когда вошел матрос-делегат, он стал внимательно слушать его.

— Нас, значит, не пускают на берег, — говорил тот, — команда волнуется. Желает знать, что делается на берегу и какая, значит, сейчас наша ответственная задача.

Что-то сомнительное почувствовал Шмидт в опущенном взгляде и жестах матроса-делегата, представителя с флагманского броненосца, и что-то слишком отчетливо напирал он на словечко «значит». Не подослан ли он начальством выведать положение во вражеском лагере?

И Шмидт спросил матросов, указывая на делегата:

— Кто знает этого человека?

Никто не знал, даже депутаты от тридцать пятого экипажа, куда входит флагман.

— Что вам нужно делать? — переспросил Шмидт, глядя в лицо матроса. И все-таки, забыв осторожность, горячо и твердо сказал: — Вы спрашиваете, что делать? Возвращайтесь немедленно на ваш корабль и арестуйте начальство. Поднимите на мачте красный флаг. А если вы этого не

сделаете, тогда завтра сам приду к вам, и флаг будет поднят.

Матрос ушел.

«А на крейсере как я буду действовать? — размышлял Шмидт после ухода матроса. — На этом корабле я никогда не был. Что я знаю о нем? Немного. Что строили его очень долго, что воры из морского ведомства задержали постройку... Но не в этом дело теперь. Что делать сейчас?»

Завтра, — раздумывал он, — не позже, чем завтра, начну объезжать корабли. Буду звать их присоединиться к нам, к восставшим. Чухнин начал уже объезжать эскадру. Надо его опередить. Кроме того, связаться с солдатами. Не только с местными, но и с теми, кого прислали убивать нас, из экспедиционного корпуса. Позовем и их. А потом мы пойдем за потемкинцами, пойдем их путем в Одессу. Только сегодня я собирался ехать туда. Один. Теперь пойдем вместе, эскадрой. Поднимем одесский гарнизон и повернем его на Феодосию и Керчь, чтобы отрезать полуостров. Он станет революционным. «Страной свершенных мечтаний!» Сбудется моя мечта. Нет, нас не оставят в покое. Если даже север пойдет войной на юг, чтобы нас уничтожить, мы, мятежники, двинемся через узкий перешеек на материк, чтобы и там, занимая города, поднимать к новой жизни всех замученных и обездоленных. Быть может, именно здесь, где я сейчас стою, на юге, и суждено начаться неизбежной, неминуемой, великой русской революции. Вот я снимаю перед нею фуражку. Поднимаю руку. Говорю ей: приди. Она придет. Не может не прийти».

И когда поделился Шмидт этими мыслями с депутатами, они поднялись с мест, окружили лейтенанта, и он смотрел на матросов, увлеченный мечтой, светя-

щей из того близкого мира, в котором он жил уже сейчас, и спрашивал как бы издалека:

— Какие меры принимать по отношению к начальству? Увезем на отдельный корабль. Так поступим с врагами. А если среди офицеров окажутся друзья — будем их приветствовать.

Слова его оборвались. В помещение прибежал очаковский матрос с запиской, подписанной: «Временный командир крейсера баталер Частник». В записке сообщалось, что Чухнин начал разоружать корабли и что казармы на площади окружены полевой артиллерией.

Шмидт с матросами побежал к Графской пристани, чтобы оттуда плыть на катере на крейсер «Очаков».

2

Выстроившись на палубе длинным и стройным рядом, очаковцы радостно встретили лейтенанта Шмидта. Он легко взлетел на мостик с биноклем в руке. Красный вымпел, поднятый на брам-стенге, возвестил о начале похода. Глядя в бинокль, Шмидт видел, что красные флаги поднялись кое-где и на других кораблях. Шмидт начал считать флаги и поднял сигнал: «Командую революционным Черноморским флотом. Гражданин Шмидт».

С мостика было видно, как на шлюпках шли делегаты из экипажей и частей. Они спешили к крейсеру, на котором создавался революционный штаб. Поднимаясь на борт, делегаты докладывали командующему:

- От крепостной саперной роты!
- От крепостной артиллерии!
- От полуэскадра Брестского полка!

- В сухопутных батареях сняты ударники.
- С орудий сняты замки.
- Восставшими захвачен арсенал.

Спустившись с мостика, Шмидт увидел матроса — теперь уже шкипера — Карнаухова-Краухова. Тот бежал к нему навстречу, широко разводя в воздухе руками. От волнения шкипер забыл слова, с которыми шел к Шмидту. Губы его затряслись, фуражка сползла на затылок. Он протянул руки к лейтенанту, но так и не произнес ни слова.

Среди прибывших Шмидт заметил Вороицына, единственного штатского на корабле. Был он в высоких сапогах и длинном пальто, надетом поверх косоворотки. Он подошел к Шмидту и спросил:

— Как думаете действовать?

И тут же сообщил об измене брестцев, которая может пагубно повлиять и на другие части, и о том, что связь Совета со Шмидтом затруднена. Сигналы перехватываются, а поездки на крейсер отнимают много времени. С кораблей по-прежнему не пускают команду на берег, и матросские требования приходится передавать туда по семафору. С сигнальной мачты главного командира непрерывно доносятся приказы Чухинна: расстрелять, уничтожить...

Действовать надо было немедленно. Вся Россия смотрела на капитанский мостик, где стоял Шмидт.

Шмидт послал в Петербург телеграмму:

«Славный Черноморский флот, свято храня верность своему пароду, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и перестает повиноваться вашему министрам. Командующий флотом гражданин Шмидт».

Он никому не показал эту телеграмму, прежде чем ее отправить, ни с кем не посоветовался. Он не понимал, что телеграмма выражает остатки веры в

царя. Она не была верноподданнической, но отражала нерешительность и смятение.

С «Очакова» Шмидт перешел на контрминоносец «Свирепый». Стоя на борту с тремя матросами, он начал объезжать эскадру.

Первым на пути было учебное судно «Прут», превращенное в плавучую тюрьму, где заключены были потемкинцы. От долгого стояния в бухте судно покрылось водорослями и ракушками. Вода вокруг стала ржавой, с фиолетовыми пятнами нефти. Пупки, нацеленные с контрминоносца, приблизились к судну.

Шмидт поднялся на палубу. Заметались испуганные офицеры. Какой-то капитан сорвал с себя погоны и протянул Шмидту.

— Наденьте погоны! — брезгливо проговорил Шмидт. — Никто вас не лишает их. Можете ведь оставаться офицером, честным офицером.

Другие, приложив руку к козырьку, вытянулись перед лейтенантом, как перед адмиралом. Третьи остановились в стороне с испуганным недоумением на бледных лицах. Этих объявили заложниками и отправили на крейсер.

Потемкинцы, вырвавшись из заключения, окружили спасителя плотным кольцом. Брошенные в плавучую тюрьму, увезенные обманом из Констанцы, они ждали неминуемой гибели.

Окончилась плавучая неволя, и потемкинцы бежали по трапу, широко дыша всей грудью, и восклицали, точно в первый раз увидели:

— Братцы, небо!

Каждому из них лейтенант пожмал руку.

Покончив с тюрьмой, он двинулся дальше. Мало кораблей с красными флагами насчитал он на своем пути. Кроме «Свирепого», к восставшим примкнули

три номерных миноносца, два-три мелких судна. Флаги непрерывно сменялись на «Святом Пантелеймоне», где тоже оставались еще потемкинцы. К небу взлетали то красный, то андреевский флаги. Видимо, шла на «Пантелеймоне» упорная борьба. Опасно это было еще и потому, что другие корабли, заметив такое смятение, могли ему поддаться. Отремонтированный после привода из Румынии, броненосец «Потемкин» был переименован, но имя «Святой Пантелеймон» так же мало, как и имя екатерининского вельможи-фаворита Потемкина, спасало его от «крамолы». На броненосце были «неблагоденные» матросы.

Близко проходя мимо «Пантелеймона», Шмидт снова увидел офицеров, испуганных сигналом, поднятым на «Очакове». Сигнал этот возвещал, что если непокорные откажутся покинуть свои корабли или кто-нибудь из них попытается убить командующего эскадрой Шмидта, «Свирепый» откроет по ним огонь, а за гибель каждого матроса будет повешен на фокрее один из заложников, находящихся в трюме крейсера.

— Кто честен, идите к нам! А кто не пожелает, пусть немедленно сдаст оружие.

Почти все на палубе протянули командующему эскадрой свои револьверы и кортики.

Неожиданной была эта везапная покорность со стороны тех, кто только вчера оскорблял, угрожал... Есть ли среди них хотя бы один, искренне уверовавший в справедливость восстания?

Некогда было об этом раздумывать. Надо было спешить дальше, идти по всему рейду, где корабли, угрюмо отражаясь в воде, стояли молчаливые, припихшие, точно призадумавшиеся: сопротивляться или нет.

Как только «Свирепый» отошел, на броненосце тотчас же снова опустили красный и подняли андреевский флаг. Шмидт заметил это в бинокль.

— Эй, на «Пантелеймоне»! — выкрикнул он, поворачивая назад и опять приближаясь к броненосцу. — Кто поднял андреевский?

Никто не пошевелился. Где же потемкинцы? Тишина. Неподвижность. На минуту командующий присел на канат, свернутый на палубе. Он заметил на «Святом Пантелеймоне» усатого матроса в бескозырке. Из команды он был на палубе один. Где же остальные?

— Борьба идет, товарищ Шмидт, — услышал он. — Много новых перепились. Угостили их господа офицеры. Но которые трезвые, сорвут андреевский и поднимут красный.

Шмидт помчался дальше, к флагману «Ростислав».

— К нам! — выкрикнул он в разговорную трубу. — Честные моряки, взываю к вашей совести. Переходите на сторону революции. Славные матросы, к нам! К «Очакову» присоединились и другие. Призываю вас я, командующий Черноморским флотом.

Труба сменилась в его руке биноклем. Поворачивая его и сам двигаясь в разные стороны, он заметил на палубе людей. Приветствуя матросов, он снял фуражку. Густые волосы его развевал ветер, и сам он в распахнутой ветром накидке, приподнявшись на носках, чтобы яснее разглядеть, что происходит на корабле, был похож на большую птицу, рвущуюся к небу. Лицо его, покрытое каплями дождя, просветлело от улыбки. С флагмана донеслись отдаленные, заглушенные ветром крики «ура». Революционный командующий Шмидт протянул руки, пошел к «Ростиславу» и вдруг потемнел: с мачты упал красный

флаг. Оркестр, игравший «Марсельезу», смолк. Вокруг стало тихо. Потом с борта донесся чей-то грубый голос:

— Эй, на миноносце! Не подходи близко. Будем стрелять.

— Уходи, Гришка Отрепьев! — подхватили другие голоса.

Шмидт выпрямился.

«Я ...Гришка Отрепьев? — промелькнула мысль. — Плохо вы меня знаете»...

Скомандовав «полный вперед», Шмидт снова пошел к волнолому, за которым высоко, как столб, стоял в море маяк. Мимо пронеслась шлюпка, спущенная с флагамена. На ней гребли десять матросов, по пять на каждой стороне. Одиннадцатый, офицер, указывал курс. Подплывая к каждому кораблю, к которому спешил и «Свирепый», и опережая его, офицер кричал:

— Не слушайте врагов отечества! Подчиняйтесь главному командиру, его превосходительству адмиралу...

Матросов спаивали по приказу Чухнина водкой.

И та же зловещая игра флагов происходила и на других кораблях, куда подплывал миноносец, и оркестр играл то «Марсельезу», то царский гимн. До изнеможения напрягая голос, продолжал взывать Шмидт:

— Товарищи, «Очаков» поднял знамя мятежа, чтобы освободить вас!

Бинокль Шмидта задерживался иногда на береговом откосе, и тогда видно было, что на нагорных улицах стояли люди.

«Что же там, на «Очакове?» — подумал Шмидт.

— Назад! — скомандовал он. — В революционный

Поднявшись по трапу на мостик, Шмидт был потрясен вестью: Чухнин успел разоружить корабли.

Разоружены были те корабли, на которых большинство матросов жаждало восстания. И в казармах тоже не было оружия.

В тяжелом раздумье Шмидт оглянулся,— мимо бежали матросы, спеша занять свои места.

Они не знали того, что знал Шмидт. А он знал, что сегодня или завтра начнется неравный бой. По казармам откроют артиллерийский огонь. Шквальный огонь обрушится на крейсер. Чухнин уже обьехал корабли. Несчастье неминуемо надвигается, и сколько матросских жизней оборвется сегодня или завтра!

Но выхода не было. Восстание уже нельзя остановить.

Шмидт знал, что люди будут бороться под красным флагом даже без оружия.

Глядя в матросские лица, он думал: откуда такая вера у людей на крейсере, окруженном со всех сторон врагами?! И как он сам, лейтенант Шмидт, слабый человек, очень уставший, особенно в последние дни, как мог оставаться он, ставший командующим, не только сильным и бодрым, но и поднять дух и укрепить веру людей, внимающих ему?

«Что же влечет меня вперед? В чем моя, наша сила? В ясном сознании цели, в упорстве даже сейчас, когда сопротивление кажется безумным. Какое же чувство овладело мной, прошло через меня? Через всю мою жизнь? Что сделало меня зрячим и уверенным в себе? Какая сила? Русский народ. Весь народ. На крейсере мы не одни. С нами народ. Наше дело мы довершим для него. Нет, не уйду от матросов. Если бы я отвернулся от них сейчас, когда нужен им, как жил бы дальше? Как бы смотрел в глаза

народу? Нет. Я буду бороться до конца.

Шмидт направился в свою каюту. На минутку он присел там на диван, чтобы отдохнуть.

И вдруг он подумал о том, что очень давно не приходили письма от ЗИР. Утром он послал ей телеграмму в Киев. «Задержали события выезжайте через Одессу Севастополь рискуем не увидеться никогда».

«Видимо, ЗИР не приедет, потому что и морская дорога сейчас ненадежна, да и железная тоже...» — подумал он.

Вернувшись на палубу, Шмидт увидел старого своего знакомца с «Потемкина», окруженного очковцами. Матросы решили отправить к «Пантелеймону» боевую роту, чтобы поддержать его команду, взять офицеров-заложников. Они отплыли на миноносце к «Пантелеймону» и вернулись оттуда, выполнив успешно свою задачу.

Шмидта охватил восторг.

Много раз за сегодняшний день он испытал эти резкие переходы от печали к радости и от радости к печали, но радость была более прочной: произошло второе рождение «Потемкина», броненосец, ставший на якорь, снова ожил после поражения, он снова боролся.

Заложников-офицеров увели с «Пантелеймона» в арестантские каюты. Шмидт, провожая их взглядом, вспомнил свое недавнее заточение в железной клетке. Не жаждал он возмездия, не желал унижения других ради своего возвышения, он хотел только справедливости. И потому очень важно было сейчас убрать врагов, чтобы они не задерживали шествия революции.

Он почувствовал удовлетворение, когда узнал, что

и баталер Частник, передавший ему командование крейсером, и комендор Антоненко, ведавший караулом, позаботились о пище для заложников и о строгой охране, предупреждавшей возможность самосуда.

Следующей задачей было вооружение броненосца. Командующий революционной эскадрой Шмидт приказал перевезти на «Пантелеймон» снаряды и ударники от орудий. В полдень корабли, стоявшие вдоль восточного берега Южной бухты, вслед за «Пантелеймоном» подняли красные флаги. Но все же это была далеко не вся эскадра.

На «Ростиславе» красный флаг был не только спущен, но и разорван в клочки.

3

В осенний день, вскоре после известия о царском манифесте, Ленин и Крупская читали клятву Шмидта, вложенную в конверт, посланный из Севастополя. Лейтенант, неведомый им еще полчаса назад, клялся перед могилами расстрелянных в том, что «мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав». В письме сообщалось о нем очень скупо: дворянин, сын адмирала, кадровый морской офицер. Арестован за эту речь и находится сейчас в заточении на корабле «Три святителя».

Среди морских офицеров такие люди встречались редко. В командном составе флота, где служили люди дворянской касты, почти не было революционеров, и первая же мысль Ленина была о том, что надо сбегать лейтенанта, освободить его из заточения. С таким поручением следовало послать кого-нибудь в Севастополь.

В последних числах октября Ленин собрался в Россию. В Петербург он ехал через Швецию. В Стокгольме его должен был встретить человек с документами на чужое имя, с которыми предстояло переехать границу. Это был финский студент Ула Кастрен. Он проводил Ленина до Гельсингфорса. Всю короткую дорогу оттуда до Петербурга Владимир Ильич неотрывно глядел из окна вагона на чахлые, опущенные осенней изморозью деревья, на бегущие провода, то падающие, то снова взбегающие к небу, на верстовые столбы, на серый горизонт и волновался от близкой встречи с городом, в котором не был давно.

В Петербург он приехал только двадцать первого (восьмого по старому стилю) ноября.

На Финляндском вокзале он увидел знакомую мужскую фигуру в осеннем пальто с поднятым воротником, в шляпе, надвинутой пизко на лоб. С вокзала он направился в извозничьей пролетке на Можайскую улицу, в одну из петербургских богатых квартир. Ее хозяйке, жене гвардейского офицера, чужда была тайная революционная деятельность брата, но она любила его и помогала ему во всем.

Через несколько часов Ленин уехал на Пески, там прожил без прописки две недели и все это время возвращался на квартиру поздно ночью. Совет рабочих депутатов, возникший только что, открытые митинги в Народном доме, легальная большевистская газета «Новая жизнь» — все требовало его внимания. Конспиративное ядро и в условиях небывалой еще в России легальности должно было быть сохранено, по наряду с ним требовалось создавать новые организации, открытые и полуоткрытые, легальные и подпольные.

А через неделю после его приезда получилось так, что внимание его все больше приковывалось к одному городу: Севастополю.

Телеграмма из Севастополя возвещала о восстании на крейсере «Очаков», которым руководит лейтенант Шмидт.

Вот он, интеллигент среди рабочих. Морской офицер, ставший своим среди матросов.

Ленин следил за тем, как разрасталось восстание. Он видел, какие опасности ему угрожают.

4

Вечером в Морском собрании с вице-адмиралом Чухинным произошло нечто необычное. В середине речи перед морскими и сухопутными командирами, собранными в зале, он вдруг зарыдал и начал рвать на себе волосы. Из грозного командира он неожиданно превратился в жалкого старика, согнувшегося от горя, глубоко обиженного.

— Ваше превосходительство! — испуганно зашептал над ним флаг-адъютант. — Не проводить ли вас домой?

— Господа офицеры, — очнувшись, продолжал Чухин, — жизнь наша и детей наших в большой опасности. Верные сыны отечества пленены мятежниками. Нельзя терпеть это. Кто угрожает нам? Кто покушается на наши традиции? Кто ищет погубить императорский флот? Отступники! Завтра всей эскадрой выходим в море, взрываем на воздух «Очаков».

Мнения разделились. Одни предостерегали адмирала от этого рискованного шага, потому что не ручались за свои команды на кораблях, другие его поддерживали.

— У меня есть сведения, что большая часть матросов желает принять обратно своих офицеров, —

продолжал Чухнин.— Если мятежники не успеют укрепиться, мы будем спасены. Все решает время. Надо действовать, и немедленно.

В этот момент кто-то вбежал в зал и вскрикнул:
— В-ваше в-высокопревосходительство, бомба!

Давя друг друга, офицеры бросились к дверям. Выяснилось, что под зданием Морского собрания обнаружен подкоп и в нем мина. Заговорщики из какой-то подпольной матросской группы скрылись. Чухнин обнял и поцеловал швейцара, предупредившего взрыв. Если бы покушение удалось, то триста офицеров, находившихся в зале, взлетели б на воздух.

После этого случая Чухнин окончательно расширел. Неизвестно, чем этот Шмидт привлек к себе команду. Что он ей посулил? И пришла Чухнину спасительная мысль. Пока он ехал из Морского собрания в штаб, план подавления восстания окончательно созрел в его уме.

Он добьется указа из Петербурга. Пусть по этому указу срок службы для матросов сократится до пяти лет вместо семи, месячное жалованье будет повышено до четырех рублей пятидесяти копеек и выше, в зависимости от специальности. Участвовавшие в подавлении восстания моряки получают четырехмесячный отпуск, а солдаты — двухмесячный.

Но такого указа не последовало. Тогда Чухнин решил попросту спить матросов. Веселое пьяное ликование началось на «Синопе», «Георгии Победоносце», «Екатерине Второй», где на палубы выносились в ендовах и ушатах водка. В кубриках матросы лежали вповалку и в обнимку. Офицеры отправляли пьяных в трюмы и на жилые палубы, чтобы те не видели сигналов с «Очакова». Боцманы и кондуктора, оставшиеся верными Чухнину, готовили корабли к бою.

Пока на кораблях шло повальное пьянство, Чухнин связался по телеграфу с Петербургом, с самим царем, с Одессой — с генералом Каульбарсом, главнокомандующим одесским военным округом, с бароном Меллер-Закомельским, которому царь поручил командование гарнизоном. Из Симферополя прибыла часть Литовского полка, из Керчи — шесть рот Керчь-Еникальского полка, из Феодосии — часть Волынского полка с полевой артиллерией.

Солдаты эти высадились в двадцати верстах от города. Они пошли в обход пешком, потому что ближайший Камышловский мост был взорван саперами под командой унтер-офицера Барышева.

5

Шмидту стало известно, что вызванными для усмирения войсками оцеплена вся Северная бухта. Это были полки Брестский и Белостокский. Повернула свои орудия к крейсеру и Константиновская батарея.

Шмидт приказал поднять вымпел: «У меня имеется много заложников-офицеров. Гибель «Очакова» повлечет за собой и их гибель».

Когда вымпел подняли, он попросил привести в кают-компанию офицеров высших рангов.

Заложники, прятаясь друг за друга, с опущенными головами, остановились на пороге. Одни стояли в смущении, на лицах других Шмидт заметил злые усмешки.

— Господа заложники! — сказал Шмидт. — Вы арестованы именем революции. Крейсер может погибнуть. Многих ожидает гибель. Неизбежен и ваш конец. Но погибнете вы не от наших рук, а по воле

Чухнина и Меллер-Закомельского. Если вам дорога жизнь, предлагаю вам написать письма им о том, что вместе с крейсером и вы взлетите в воздух.

Страх охватил офицеров. Они бросились к бумаге, приготовленной на столе, и каждый, стремясь опередить другого, спешил ставить свою подпись. В письмах была мольба: не стрелять по крейсеру. Шмидт отправил письма на катере с вестовым в штаб Чухнина.

Из кают-компании он поднялся на палубу.

Комендор Антоненко заканчивал там приготовления к защите. Так же как Шмидт, он знал, что борьба предстоит неравная, что крейсер при нынешнем состоянии его артиллерии беззащитен.

Шмидт ласково взглянул на него. Этот не дрогнет в опасности. Он понял это при первой встрече с комендором.

Он взглянул на часы: который час? Взглянул на календарь: какое сегодня число? Ого, он ушел из дому еще позавчера. Где сын? Чем он занят сейчас, оставшись один?

Набросав несколько слов сыну, Шмидт послал за ним вестового.

Когда Женю привезли на «Очаков», мальчик изыбшими пальцами долго застегивал на себе ученическую шинель. Казалось, он стал еще бледнее и тоньше.

— Ну вот. Я жив-здоров. А как ты там? — спросил отец.

— Боялся за тебя.

— Все хорошо. Будь спокоен.

— Не могу. Останусь с тобой. Что будет с тобой, то и со мной.

— Прощу тебя...

— Нет! — упорно повторил мальчик.



Голос его звучал решительно.

Они стояли на мостике. Отец подошел к сыну ближе, взял его за руку и в этот момент заметил на горизонте судно, приближавшееся к рейду. Медленно разворачиваясь, оно шло прямо к крейсеру.

— Полный назад! — приказал сигналить пароходу Шмидт.

Судно оказалось пароходом «Пушкин», вышедшим с коммерческим грузом вчера утром из Одессы. С крейсера подошли к нему вслед за шлюпкой катер и баркас. Пассажирам первого и второго класса было предложено пересесть для следования на «Очаков». Произошло замешательство. Одни испуганно сбились в стороне, другие бросились к баркасу. На баркасе пассажиры всех классов смешались.

— В чем дело? — боязливо спрашивали они.

Матросы отвечали:

— Командует флотом гражданин Шмидт. Видите — красный флаг?

Баркас с катером пошел к крейсеру. Три готовые к бою миноносца стояли вблизи «Очакова». Баркас подплыл с другой стороны, обойдя их. Пассажиры высадились. Они уже знали, что произошло, и каждый из них искал глазами нового командующего.

Тот сидел в это время в адмиральской каюте.

— Мы окружены, — сказал он пассажирам, когда их проводили к нему, — но по городу стрелять не будем. Там вместе с врагами революции могут погибнуть тысячи мирных граждан. Казаки ведут себя пока смирно, но если от них погибнет хотя бы один севастополец, мы перебьем здесь все высшее начальство. Я сторонник бескровной революции, но, если меня вынудят, не остановлюсь ни перед чем. А пока не волнуйтесь. И от голода никто не погибнет. У нас здесь припасов столько, что вам хватит. Только

прошу не обижаться, если придется кормиться матросской пищей. Я сам ем матросский борщ и очень доволен. Вы — граждане революционной территории! — продолжал он. — Да, здесь зона революции. Здесь вы свободные люди и никто не посягнет на вас.

Он нажал кнопку на стене. Вошел вестовой, выслушал его, ушел и вернулся с кипой свежих листовок, отпечатанных вчера в типографии и расклеенных на улицах. Краткое предупреждение извещало: «В случае каких-либо насилий со стороны казаков по отношению к гражданам, я вынужден буду принять решительные меры. Командующий флотом П. Шмидт».

Пассажиры первого класса по-прежнему стояли в стороне, слушая с недоверием.

— А что, — спросил кто-то из них, — отпустите вы «Пушкин» или нет?

Вопрос этот явился как бы сигналом. Из группы послышались и другие голоса. Господин в котелке неожиданно осмелел и заявил, что его ждет в Ялте жена. Она сейчас бродит по набережной и волнуется. Толстый грек в турецкой феске, привезший маслины и марсельское мыло, тревожно оглядывая командующего, спрашивал: «Что же это будет?»

Два студента в фуражках с синим околышем стояли рядом, один с озабоченным и строгим лицом, другой, казавшийся совсем мальчишкой, румяный и веселый, со светящимся пушком на подбородке. Это были студенты Новороссийского университета, Мойшев и Пятин, приехавшие в Севастополь корреспондентами одесских газет, чтобы описать брожение, начавшееся во флоте, но, когда был задержан «Пушкин», оба забыли о редакционном поручении и не пожелали уйти с мятежного корабля.

Глядя на них, Шмидт радовался: вот она, революция, олицетворенная в этих юношах.

Вдруг гул потряс крейсер.

С канонерской лодки «Терец», обстрелявшей до этого катер, шедший с мятежного корабля, грянул артиллерийский залп. Одновременно на «Ростиславе» был поднят сигнал Чухнина: «Приказываю восставшему крейсеру «Очаков» сдаться и повиноваться государю-императору».

Шмидт ответил отказом.

Он распорядился отправить пассажиров на берег и бросился к сыну. Тот лишь после настойчивых просьб согласился перейти на примкнувший к восставшим номерной миноносец.

Наблюдая за огнем, открытым с Константиновской батареи, Петр Петрович распорядился приготовить спасательные пояса, пожарные шланги, шлюпки.

— Правый борт по эскадре! — командовал он. — Левый по Константиновской батарее!

Антоненко бросился к орудиям.

Но крейсер получил пробоину у самой ватерлинии. Вода хлынула в трюм. Она заполнила один отсек — тот самый, в котором очаковцы собирались тайно перед восстанием. По верхней палубе была полевая артиллерия шрапнелью откуда-то с Северной стороны. Дальнобойные орудия добивали крейсер. Казалось, горели вода, небо, воздух и неминуемо должны были взорваться минные и пороховые склады.

На минном транспорте «Буг» было около пяти тысяч тонн взрывчатки. «Буг» стоял на виду, у Графской пристани, за которой в окрестностях бухты расположились минные и пороховые склады, вместившие до трех миллионов пудов взрывчатого материала. Чухнин, ослепленный жаждой мести, не подумал о

том, что от одного снаряда, попавшего в «Буг», произойдет страшная катастрофа.

Шмидт, продолжая стоять на мостике, задыхаясь от дыма, ослепленный пламенем, неистово кричал вниз:

— «Буг»! «Буг»! «Буг»!

— «Буг» на дно! — просигналил Шмидт туда, где стояла вражеская эскадра.

Чухнин понял. На транспорте открыли кингстоны. Он начал медленно погружаться в воду. Но на «Очакове» опасность возросла. Вода попала в машинное отделение. Кто-то из машинной команды крикнул, что сейчас взорвутся котлы. Матросы бросились к борту.

— Умрем, но не сдадимся! — сказал им Частник. — Не покинем корабль.

Поискав глазами миноносец, на котором уплыл Женя, Шмидт не увидел его. На том месте, где недавно стоял миноносец, мелькнула серым пятном канонерская лодка «Терец», стрелявшая по «Очакову». Она так близко подошла, что Шмидту удалось разглядеть в бинокль старшего офицера, и он тотчас же узнал его.

Это был лейтенант Ставраки.

Случилось так, что два лейтенанта встретились. А ведь Шмидт думал, что их пути разошлись навсегда.

Да, Ставраки был на пути к блестящей карьере, уже отмеченной флаг-адъютантскими аксельбантами, светскими знакомствами, женитьбой на богатой светской женщине... И этой жизни, которой уже был опьянен Михаил Ставраки, угрожал тот, другой, Шмидт, своими речами на митингах, а сейчас восставанием, которое сметет в один день все то, чем жил и к чему стремился он, Ставраки.

Не наступил ли момент, когда можно кончить давний спор, свести счеты с Петром Шмидтом?

Вот почему, когда Шмидт появился на крейсере «Очаков», Ставраки попросился на канонерскую лодку «Терец» и добился у Чухнина разрешения лично командовать судном, чтобы стрелять по крейсеру, осмелившемуся поднять красный флаг.

— Огонь! — командовал Ставраки, неотрывно глядя на мостик, на котором стоял Шмидт. — По врагам бога, царя, отечества — огонь!

— По канонерской лодке, — донесся с мостика ответный возглас Шмидта, — огонь!

Антоненко, продолжая стоять вместе с другими у орудий, вытирал рукавом со лба крупный пот и нетерпеливо поглядывал на рельсы, проложенные с правой и левой стороны палубы, по которым матросы катили снаряды к пушкам.

Канонерская лодка, маневрируя, то скрывалась, то снова появлялась, продолжая стрелять.

Непрерывно били по мятежникам и с «Ростислава», и с других кораблей.

С мостика Шмидт спустился на нижнюю жилую палубу. На разбитом полу валялись куски скрученного железа и трупы. Шмидт сначала не заметил их, а потом понял, что эти люди сгорели на жилой палубе. Наверху за шкапцами, возле шкафута, на обгорелой палубе лежал раненный в живот матрос, перевязанный простыней.

В кают-компани, куда перевели заложников, было пусто. В борту зияли пробоины. Вокруг все было разворочено, опрокинуто, разбито. Куда же девались заложники-офицеры? Отметив то место, где должен был стоять часовой, Шмидт все понял. Когда на крейсере начался пожар, арестованные вышибли дверь и вырвались из кают-компани. Часовой за-

стрелил первого беглеца. Но сам погиб на посту. Рядом с часовым лежал труп офицера, застреленного им. Заложники бежали.

Огромная пробойна была в машинном отделении, куда спустился Шмидт. Снаряд вырвал лист брони. Другой снаряд, попавший в среднюю кочегарку, разбил сухопарник и снес над шестью котлами все дымовые ходы.

Шмидт искал машиниста Гладкова, работавшего здесь до последней минуты, но не нашел его. Неужели погиб? Труп обезглавленного матроса лежал не здесь, а у выхода из кочегарки. Нет, это не Гладков — тот был шире и ниже. Это был труп ученика кочегара. Голову его, очевидно, срезало взрывом в тот момент, когда ученик только поднялся над уровнем палубы.

Стоя над изуродованным трупом, Шмидт вспомнил фамилию кочегарного ученика. Она была странная: Козорез. Накануне утром Шмидт видел этого юношу веселым и бодрым.

Шмидт уже не шел, а бежал по крейсеру. В середине одного кубрика уголь особенно толстым слоем лежал около минного полупортика. Слегка копнув лопатой уголь, Шмидт увидел под ним мертвые тела.

Губы Шмидта дрожали. По щекам катились крупные слезы.

Снова взбежав на мостик, он заметил в бинокль канонерскую лодку и скомандовал, указывая рукой на нее:

— Огонь!

И когда Антоненко оглушил его залпом, подумал, что стрелять сейчас нужно только по канонерской лодке, которой командовал Славраки.

Вороницын, вызванный сигналом в дивизию, поспешил с крейсера на берег. Грохот канонады продолжался. Обогнув мысок, катер шел полным ходом, и в этот момент в него попал осколок снаряда с канонерской лодки «Терец», стоявшей вблизи минной мастерской. Катер остановился, Вороницын пересел в шлюпку. Сойдя на берег, он узнал, что снаряд с «Ростислава» разбил карниз флигеля, в котором заседали депутаты Совета. Гремели пушки у Исторического бульвара и Инкермана.

В Совете Вороницыну сказали, что матросы бегут на Корабельную сторону. Он схватил винтовку и побежал к воротам, чтобы остановить бегущих. Но у ворот стояла первая рота Брестского полка. Матросов, пойманных солдатами, офицеры отправляли группами в подвальное помещение, а оттуда в штаб флота.

Вороницын возвратился в дивизию. Там удалось ему с помощью матросов запереть ворота и снять часовых — тех самых брестских солдат, которых еще вчера он уговаривал не стрелять в своих. Хмель еще бродил в их головах. Дивизионный двор наполнился восставшими.

Не умолкали ни свист пуль, ни оружейный гул. Охваченное пламенем, небо низко повисло над крышами. В отблеске пожара было видно, как медленно погружается в море мачта «Буга».

Вблизи 31-го экипажа Вороницын подошел к пожарной лестнице, влез на нее и увидел, как, прикрываясь ружейным огнем, солдаты начали разбирать баррикады у ворот. Действовали они осторожно, озираясь во все стороны. Расчистив место для прохода, они бросились во двор и окружили матросов. Впе-

реди мелькнула крупная, накрытая дождевым плащом фигура полковника Думбадзе.

— Сдавайте оружие! — кричал полковник.

Он приказал солдатам оценить здание. Брестцы, выводя из помещения депутатов, держали в руках зажженные факелы. Арестованных строили у ворот по четыре человека в ряд. Пламя факелов освещало их суровые лица с глазами, устремленными вдаль, к морю, где продолжал гореть одинокий мятежный корабль.

Вороницын побежал к товарищам, но споткнулся в темноте о какой-то камень, выброшенный на берег во время шторма, упал, а когда поднялся, депутатов уже увели.

Начался обыск. Солдаты шли по чердакам и подвалам, рылись в матросских карманах. Искали оружие. Какой-то унтер-офицер говорил, расправляя пальцами усы:

— Те-еперь депутаты ваши, чи как их там, будут заседать у тюрьмах, а потом будут, значитца, висеть на веревочке уместе с ва-ами.

— Ты! — крикнул ему Вороницын. — Думбадзевский холуй. Подожди, мелкая душонка, время покажет, где будешь ты!

Унтер-офицер оторопел от крика этого штатского человека. Очнувшись, он поглядел по сторонам, но Вороницын был уже далеко. В казарме он быстро переоделся в матросское платье. И так, в бескозырке и бушлате, он отправился на Исторический бульвар.

Осенняя мгла, озаренная пламенем разгорающегося пожара, нависла над бухтой. Из 36-го экипажа, где началась перестрелка с солдатами, Вороницын пошел в 28-й. В свете прожекторов то возникал, то снова пропадал «Очаков». Вороницын поднялся на

третий этаж. Там, разбивая стекла, летали шальные пули. В водопроводную цистерну попал снаряд, хлынула вода. Вороницын решил выждать удобный момент, когда утихнет стрельба, но канонада продолжалась, и он с отчаянием подумал, что теперь ему уже, пожалуй, невозможно будет добраться до Исторического бульвара.

Он зажег спичку. Солдаты, заметив огонек, принялись стрелять в окна. Вороницын с винтовкой в руке пошел по этажам, как слепой, ища дорогу в темноте, но заблудился на каменных лестницах между площадками. Сколько же будет длиться эта ночь? Что будет дальше?

«Очаков», «Пантелеймон», «Прут», контрминоносец «Свирепый», «Светлый», «Заветный», четыре номерных миноносца, три тысячи матросов против всего флота. «Пантелеймон», на который не успели доставить ударники к орудиям, быстро умолк...

Вороницын блуждал по лестницам и коридорам. В одной комнате, такой же темной и огромной, как и другие, оказавшейся кухней, он присел на мешок с картошкой. Рядом сидели и беседовали шепотом какие-то люди, им хотелось курить, никто не решался чиркнуть спичкой. Кто-то невидимый, вернувшийся недавно с войны, где он дрался под Чемульпо, шептал хриплым голосом:

— Да это ж не идет в сравнение. Да рази японцы так били русские корабли, как сейчас свои бьют по своим? Да это ж нельзя сравнить.

В этом месте, защищенном соседними корпусами, было глуше и тише. Матрос, дежуривший в дивизии, гремя отобранной у кого-то офицерской саблей, вбежал на кухню и выкрикнул:

— На первый-второй ра-ассчитайсь! К воротам! Бей солдатню!

Много раз за сегодняшний вечер звучали на дворе такие призывы к атакам, матросы кидались в бой и падали сраженные.

Поздно ночью Вороницыну удалось вернуться на крейсер. Чьи-то руки подхватили его, и Вороницын узнал Частника.

Кто-то крикнул, что сейчас взорвутся котлы. Частник побежал к машинам, где все уже было разворочено, разрушено, разбито, и увидел там Гладкова.

— Сейчас взорвемся! — проговорил Гладков.

У машины больше нечего было делать. Они вылезли на палубу.

— Все равно, Саша, — сказал Частник, — умрем на крейсере, где давали клятву. Не уйдем, пока не прикажет наш лейтенант.

— А где он?

Они огляделись, но не увидели Шмидта. Потом донесся его голос, отдававший последние приказания. Это было в момент, когда к «Ростиславу» присоединился крейсер «Память Меркурия», броненосцы «Три святителя», «Двенадцать апостолов» и минный крейсер «Капитан Остен-Сакен».

— По фла-агману! — командовал Шмидт. — Огонь!

Задыхаясь от дыма пожара, матросы бросались за борт.

Гладков, сорвав с себя одежду, бросился в воду одним из последних. Плывая на Северную сторону и попадая временами в полосу ослепляющего прожекторного света, Гладков замечал вокруг черные тени катеров, откуда стреляли по плывущим матросам.

122 Пожар на «Очакове» уже охватил носовую часть.

Собрав последние силы, Гладков поплыл дальше за мысок. Невдалеке от Северной стороны его оглушил близкий взрыв, и он с трудом удержался на воде.

На берегу стояли солдаты. Вглядываясь в плывущих, они вскидывали винтовки и стреляли.

Гладков повернул назад. Крейсер горел, освещая бухту внезапными вспышками, и там, где бухта освещалась огнем, матросов погибало больше, чем в других местах. Гладков ослабевал. Плыть стало труднее. Он плыл, уже не зная куда.

Времнами он видел берег, освещенный отблесками пламени, и людей, стоявших у Приморского бульвара. Некоторые с биноклями в руках толпились на Нахимовской площади, у здания гостиницы «Кист» и Графской пристани. В толпе были обыватели, жадные до зрелищ, одевшиеся в поздний час потеплее, чтобы не простудиться. Были там, наверно, и пассажиры с парохода «Пушкин», и сейчас они злобно усмехались в воротники, наблюдая за сражением.

7

Шмидт оставался на мостике.

Канонада на время утихла. С нижней палубы доносились стоны.

— Петр Петрович! — услышал он рядом голос Частника. — Уходите. Вам здесь оставаться нельзя.

Шмидт почувствовал на своем плече горячую и тяжелую руку товарища, тянувшего его к тому борту, где неподалеку стоял номерной миноносец.

— А вы?

— Потом.

Пламя обжигало Шмидта. Болела правая нога. То ли когда бежал по шторм-трапу вниз, то ли еще

где он растянул сухожилье и почувствовал боль только сейчас.

С головы Шмидта слетела фуражка. Затрещали от близости огня волосы. Он взмахнул руками, бросился вперед и прыгнул в воду. Захлебываясь, он поплыл к берегу.

Совсем близко стоял номерной миноносец. Шмидт увидел идущую к нему шлюпку и в ней офицера. Через несколько минут шлюпка доставила его на корабль.

Тяжело ступая, он прошел по палубе миноносца и вдруг остановился в изумлении, увидев сына. Он забыл, что позавчера сам отправил мальчика на этот миноносец.

Сын обнял отца. Они стояли безмолвно. И оба вздрогнули от внезапного толчка, когда снаряд, посланный с «Ростислава», попал в миноносец. Как и на крейсере, люди начали бросаться с борта в воду.

За первым снарядом последовал другой, третий. Миноносец уже не отстреливался. С флагмана подплыл катер. Офицер на катере козырнул и сообщил, что явился спасти людей от гибели. Из-за сильной боли в ноге Шмидту трудно было ходить. Незнакомые моряки подхватили лейтенанта, подняли на руках и понесли. Сын пошел за отцом, тоже раздетый, дрожащий от холода. Кто-то в спешке накинул на обоих матросские шинели, мокрые и грязные, запачканные углем. По телу Шмидта потекла черная вода. Он сжался, попробовал вырваться, но его снова подхватили и понесли по трапу на корабль.

Это был «Ростислав».

— А, ваше превосходительство, командующий флотом! — услышал он рядом злобный возглас. — Наконец изволил явиться. Да-авно ждем вас. Добро пожаловать. А ну тащите эту сволочь сюда.

Шмидт повернулся к сыну и успел крикнуть ему, чтобы тот не отставал, шел следом.

— Мальчишку заберите у его превосходительства командующего! — продолжал тот же злобный голос. — Поберегите отрока невинного.

И уже не было рядом мальчика. Конвой теснее сомкнулся вокруг Шмидта. Его повели в кают-компанию. Опустили на диван. У двери стали часовые.

— Полюбуйтесь, господа офицеры! — продолжал все тот же голос. — Приняли мы у себя командующего. На руках принесли. Великую почесть оказали. А он, наверно, недоволен. Смотрите, какую рожу скорчил. Взгляни на нас, негодяй и предатель.

Старший офицер, лейтенант Карказ, продолжая издеваться, поднес к лицу Шмидта кулак, сложив пальцы дулей, и сказал:

— На. Выкуси. Куда ты нас звал? Почему молчишь сейчас, оратор? Ну, зови, зови.

Шмидт поднял отяжелевшие глаза и спросил:

— Где мой сын?

Карказ затопал ногами и закричал:

— Молчать!

Кто-то из офицеров оттащил Карказа в сторону, но тот не унимался, плюнул на арестованного, замахнулся на него и продолжал вопить:

— Кто-о прибыл на флагман? Сам командующий Черноморским флотом. Шапки долой перед этим подлецом.

И долго еще дергался он, брызгая слюной, топал ногами и орал.

Никто из офицеров не проронил ни звука ни в защиту арестованного, ни в осуждение его.

Потом офицеры сели ужинать. Стало шумно. Послышались тосты. Шум усилился, когда в кают-ком-

пании появились заложники, бежавшие с мятежного крейсера.

— Где он? Покажите его?

Вчерашние заложники окружили пленника, полулежащего на диване. Были теперь они не испуганные и покорные, как третьего дня, когда никто из них не сопротивлялся, не проявил мужества, все сдавали ему оружие, а мстительные и злобные.

Подняв голову, он поглядел на этих людей и проговорил:

— Вон отсюда, мерзавцы, трусы...

Послышались крики.

— Теперь не испугаешь!

— Предводитель хамов!

Шмидт сжал кулаки, поднялся, откинулся на спинку дивана и увидел рядом Женю.

— Ты! — радостно воскликнул отец.

И замолчал. Разговаривать сыну с отцом было запрещено, и лишь движением руки он показывал отцу, что привели его снизу. Долго еще чертил он в воздухе пальцем, но отец ничего не мог понять и лишь для того, чтобы приободрить сына, едва слышно, твердил ему в ответ:

— Так, так, так...

Вошел командир корабля адмирал Федосьев. Он взглянул на пленников суровым взглядом, сверкнувшим из-под седых нахмуренных бровей, и крикнул куда-то вдаль вестовому густым недовольным голосом:

— Пищу!

Вестовой принес обед на двоих. Пленники рады были горячей еде, но все еще дрожали от озноба.

Глядя на них, адмирал приказал так же отрывисто:

— Чаю!

Вестовой принес горячий чай с лимоном, и оба, обжигаясь, мгновенно выпили его.

Адмирал так же отрывисто скомандовал:

— Рому!

Вестовой принес бутылку рому. Шмидт отпил глоток, и горячая волна побежала по всему его телу. Слегка зашумело в голове.

Адмирал выкрикнул:

— Папирос!

Не дожидаясь вестового, он достал из своего кармана серебряный портсигар, звонко щелкнул крышечкой и протянул пленнику толстую папиросу «Реномэ».

И опять послышался его резкий крик:

— Одежду!

Вестовой принес одежду. Шмидт выбрал тельняшку, нижнюю матросскую рубашку с казенным клеймом, брюки клеш и протянул все это Жене. Тот быстро переоделся. Хотя брюки оказались широкими, он удовлетворенно улыбнулся, одевшись во все сухое. Отцу досталась только форменная куртка с оборванными пуговицами.

— Еще что вам? — спросил адмирал у пленников. — Бы-быстро!

При этих словах он так близко склонился над арестованными, что им видны были морщинки у глаз и старческие веки. От беспомощной близорукости взгляд адмирала показался жалким, и лейтенант вдруг понял, что адмирал нарочно придавал своему голосу суровость, чтобы не выказать перед офицерами жалость к опасному государственному преступнику.

Так и было. Федосьев, хромой адмирал, только сейчас притворился злым, потому что в его чине нельзя быть добрым к революционеру. Это по его

распоряжению привели к отцу сына. Он и мальчика обласкал, скрывая сердечность за внешней суровостью.

Заложники с «Очакова» и все другие офицеры в присутствии адмирала стояли тихо.

Уходя, Федосьев распорядился перевести арестованных в отдельную каюту. Он ушел, волоча хромую ногу, и снова Карказ оживился. Отдельная комната, куда перевели отца и сына, оказалась большой, но без коек. Карказ бросил на пол один узкий пробковый матрас на двоих. Приказав держать дверь открытой, посадил у входа боцмана, который, как ярмарочный зазывала, начал приглашать всех желавших полюбоваться редкой картиной.

— Господа офицеры! — возглашал он, строя веселую рожу. — Пра-ашу зайти. Представление! Революционер! Подходите ближе. Не кусается. Вход бесплатный. Смотрите! — не унимался он, указывая рукой на выпачканное сажей лицо Шмидта. — Негр. Прямо из Африки.

Какой-то офицер, возмущенный этим балаганом, разогнал зевак и захлопнул дверь в каюту. Боцман снова раскрыл дверь и, слегка вытянувшись, проговорил:

— Никак нельзя. Приказание их благородия старшего.

В раскрытую дверь дул сквозной ветер. Шмидт, прикрывая своим телом мальчика и сжимаясь от боли в распухшей ноге, попросил:

— Закройте.

— Мо-о-олчать! — прикрикнул на него Карказ.

От адмирала был прислан флаг-офицер, мичман, осведомившийся у арестованного, в чем тот нуждается. Шмидт попросил одеяло и горячий чай для сына.

Мичман вышел. Вестовой принес большой эмалированный чайник с кипятком. Стаканов пока не было. Пленники в ожидании их грели над паром озябшие руки. Вбежал Карказ.

— Что-о-о?.. — закричал он, забирая чайник. — Хватит. Сегодня вы уже жрали. А завтра перейдете на хлеб и воду.

Он отнял и папиросу, но когда узнал, что она дана лично адмиралом, вернул ее, но забрал спички.

— А спички не разрешаю, — выкрикнул он при этом, — и прикуривать у часового запрещаю. Арестантам курить не полагается.

Лежать вдвоем на узком пробковом матрасе было неудобно. Прижимаясь друг к другу, оба лежали, почти не шевелясь, чтобы не соскользнуть на голый холодный пол.

Восстание подавлено, но революционное чувство, с которым Шмидт шел на восставший корабль, никогда не умрет ни в нем, ни в других. Только эта мысль сейчас и жила в нем. Все же остальное, окружавшее его на флагмане, было вне его сознания. И когда пришел судовой фельдшер, присланный адмиралом перевязать ему ногу, Шмидт смотрел и на фельдшера издалека, как из другого мира, пока тот, испуганно поглядывая на дверь, торопясь, чтобы ему никто не помешал, наматывал белоснежный бинт.

«Другие пойдут по нашему пути», — думал Шмидт.

Да, недаром он призывал матросов к сопротивлению!

Не его сейчас оскорбляют. Не он повержен, а другой, только похожий на него, именуемый лейтенантом Шмидтом, дворянином тридцати восьми лет. Это был не он. Его «я», его личность живет отдельно от

того, что сейчас его окружает. Революционер Шмидт остался непобежденным.

«Мы,— подумал он о себе во множественном числе,— мы не умрем».

С такой же внутренней безучастностью перешел он с сыном в другую каюту, третью по счету, где была одна койка на двоих.

Очень хотелось умыться. В каюте нашлось полотенце, растрепанное и вытертое от долгого употребления. Нашелся и небольшой обмылок. Но когда арестованный взял его, чтобы смыть с лица угольную грязь, часовой отнял мыло.

— А подушку? — спросил узник. — Для мальчика...

Снова появился Карказ.

— Нет! — закричал он. — Дрыхнуть можете и так.

— Мне не надо ваших одолжений,— спокойно ответил узник,— я прошу только что полагается. Лазаретную подушку и одеяло для мальчика. Так делается в тюрьме.

— В тюрьме? — переспросил Карказ, заливаясь смехом, точно он полоскал горло. — Там полагается и другое.

Он подошел к Жене и крикнул ему, показывая на ночную посуду, стоявшую под койкой:

— А раз так, выноси горшок! Раз тюрьма, так и параша.

Выпрямившись и отвернувшись от Карказа, Женья пронес горшок через командное помещение так спокойно, что вокруг никто не засмеялся. Матросы, окидывая старшего офицера суровыми взглядами, молча осуждали его.

Откинувшись к стене, чтобы потесниться на койке и вытянуть забинтованную ногу, Шмидт поискал что-то в карманах казенной тужурки, вывернул ее наиз-

нанку и, вспомнив, что тужурка чужая, чуть не вскрикнул: «Письма!»

Китель, в котором лежали письма ЗИР, сгорел в огне на крейсере. Шмидт никогда не расставался с письмами, носил их бережно с собой. И вот нет больше писем ЗИР...

Узнику показалось, что вырвали у него кусок живого тела.

— Сгорели письма! — сказал он вслух, но тотчас же спохватился, встретившись с недоуменным взглядом сына.

И снова ушел в молчание, как уходил всегда в моменты потрясений. Ушел в «страну свершенных мечтаний», где счастливо жили люди.

8

Поздно вечером в каюту вошел кто-то невидимый во тьме и весело проговорил:

— Здравствуй, Петя.

Шмидт приподнялся на локте.

— Ну, как поживаешь? — бодро спросил вошедший. — Да-авненько мы не виделись. Ве-ечность! Ну, здравствуй, милый.

Гость протянул руку узнику, но тот отвернулся к стене.

— Что, не желаешь здороваться? — с притворной обидой спросил ночной посетитель. — Это-то почему же, а?

Он вытащил спички, зажег оплывший огарок, стоявший в подсвечнике на табуретке, и взглянул на узника. Тот молчал. С койки доносилось легкое дыхание крепко спящего мальчика. Задрожала на стене большая изломанная тень гостя, и чтобы не смотреть даже на эту тень, пленник закрыл глаза.

Перед ним был Ставраки.

Китель с золотыми погонами ладно сидел на его фигуре. Высокий воротник подпирал его голову со сверкающими от бриолина редкими волосами, сквозь которые просвечивало розовое темя. Голова при разговоре наклонялась в сторону, но воротник поддерживал ее, и казалось, что она привинчена к воротнику.

Шмидт молчал.

— Ну, полно, Петя, — ласково заговорил гость, — нехорошо забывать старых друзей. Как ты себя чувствуешь? Пстой, пстой, когда же это мы с тобой встретились в последний раз?

— Вспомни.

— Не могу что-то. Запомятовал.

— Позавчера.

— Где?

— В бухте.

— Ах да! — воскликнул Ставраки, делая вид, что только сейчас вспомнил свое плавание на канонерской лодке. — Это я на «Терце» был. Ну что ж. Служба, Петя! Служба — дело такое, сам понимаешь.

— Уходи.

— Эт-то почему же, а?

Не было уже больше сладких и фальшивых нот в голосе Михаила Ставраки, и лицо его перестало улыбаться. Теперь уже незачем было притворяться. Тот, к кому он пришел, не угрожал больше его существованию и карьере. Нечего уже было ему и завидовать. Михаил Ставраки уже не чувствовал себя маленьким человеком от сознания того, что рядом с ним живет благороднейшее существо, укоряющее его безмолвно самим величием характера и добрыми помыслами, высокими стремлениями. Теперь этого не будет. Точка. Петенька Шмидт!

Ставраки казалось, что революция, поверженная в прах, лежала сейчас у его ног, олицетворенная в Пете Шмидте. Возмездие пришло быстрее, чем он ожидал. Удовлетворение наступило раньше, чем он думал.

— Почему же ты молчишь? — продолжал он. — Мне интересно тебя послушать.

— Уходи.

— А вот не уйду. А?

Узник снова отвернулся к стене.

— Послушай, — заговорил Ставраки, — хотя бы сейчас посмотри на себя трезво. К чему привели твои идеалы? Ведь сколько жертв! Ведь это черт знает что такое. Что получилось? Где твои верные оруженосцы? Которых ты соблазнил, поднял на преступное дело?

«Где товарищи? — болью отозвался в сердце этот вопрос. — Где Частник? Гладков? Антоненко? Вороницын? Где они?»

— Они предали тебя, — продолжал Михаил. — Сбежали. Как крысы с тонущего корабля. И ты... ты тоже бежал.

Вытягивая больную ногу, Шмидт вскочил с койки и крикнул:

— Пошел вон!

Ставраки отступил к двери.

— Но-но-но! — воскликнул он. — Легче на поворотах. Ты не на «Очакове». Скажи хоть сейчас честно, что ты ошибся.

— Время покажет, — проговорил Шмидт, — оно еще не пришло. Мы не первые и не последние. С нашей гибелью дело не остановится. За нами идут другие. Ты ответишь перед ними за всех, и за меня тоже. Имя твое забудется, а если кто-нибудь вспомнит, так только для того, чтобы презирать его.

Перед тем как дверь с шумом захлопнулась, вблизи нее прозвучал злобный голос:

— До свидания, Петя. Нет, не скажу «прощай». Петр упал на койку.

Где-то далеко били склянки, и глухой звон долго стоял в ушах Шмидта. Слышно было, как плещут волны. Наверху умолкли топот, смех, разговоры. Тишина обступила каюту, и еще тревожнее забилося у лейтенанта Шмидта сердце при мысли об участии очаковцев.

— Где они? — спросил он себя громко в темноте. — Что с ними? Что в Петербурге?

И не знал он, что в это время на почту пришла из Питера на его имя телеграмма:

«Совет рабочих депутатов от имени петербургского пролетариата шлет горячий привет севастопольским солдатам и матросам, решившимся, следуя славному примеру потемкинцев, встать на борьбу за свободу в братском союзе с рабочими.

Да будут севастопольские события примером для солдат всей России... Тогда союз революционного пролетариата и революционного войска положит конец всем остаткам самодержавия и водворит на развалинах его свободный демократический строй».

Глава вторая

Бал во дворце

1

Баталер Частник не запомнил, как к горящему борту подошли шлюпки и катера, тушившие огонь, и как его доставили с крейсера на флагман «Ростислав». Когда при-

вели его в чувство, он ужаснулся, увидев, что кровью сочится кожа на руках его, на ногах, на груди, так обильно, что показалось, будто с него содрали кожу.

«Как же это случилось? — пытался он вспомнить. В памяти его стоял только красный туман. — Но, значит, я все-таки живой».

Было непонятно еще и то, что болела только голова. Он начал ощупывать себя, но нет, боли не было.

Вероятно, он был в трюме: очень темно. Море плещется за бортом. Тишина. День или ночь?

Лишь рано утром ему стало известно, что, когда с крейсера снимали по распоряжению Чухнина живых и мертвых, в паровой катер бросали все, что попадалось под руку; видимо, и его, оставшегося на палубе среди убитых, посчитали трупом и бросили в катер, в кровавую массу, где он и перепачкался в крови. В трюм потащили его по трапу за ноги. Утром с головы, запекшейся кровью, боль перешла на позвоночник. Трудно было повернуться. Хотелось пить, но воды не давали. «Кровь его на нас и на детях наших», — вспомнились ему слова из «священного писания».

И так же, как лейтенант Шмидт, лежавший сейчас наверху, на койке, на том же корабле, баталер Частник понял всем существом своим, что бой не окончен и что начатое дело продолжат другие, новые революционеры, познавшие поражение и умудренные им.

Когда Частника перенесли из катера в трюм флагманского корабля «Ростислав», он не мог понять: ушла ли ночь, наступил ли день. Там, в трюме, всегда темно.

Тяжелораненых отвезли в госпиталь. Оставшиеся томились в неизвестности.

В трюм привели Антоненко.

Был он почти невредим, только на щеке след ушиба. Прыгнув за борт в последнюю минуту, когда не осталось больше снарядов и крейсер пылал пламенем, он долго плыл по волнам, часто нырял, спасаясь от пуль, и доплыл к набережной Приморского бульвара. Там он натянул на голую грудь пиджак, брошенный ему каким-то сердобольным прохожим, и никто на бульваре не заметил его вначале. Антоненко слился с толпой. Но один из офицеров, шмыгавших по аллеям, заметил кончик георгиевской матросской ленточки, торчавший из кармана брюк Антоненко. Офицер дернул за ленточку и вытащил бескозырку с надписью «Очаков».

— Стой! — закричал офицер, выхватив револьвер. Матрос бросился бежать, но когда он был уже у ворот бульвара, другие схватили его, связали, бросили в шлюпку и доставили на «Ростислав».

И как ни ясно представлял он себе, что с ним будет, Антоненко радостно вскрикнул, узнав голос Частника:

— Ото ж я! — и крепко сжал руку баталера.

Тот не сразу его узнал. Антоненко спросил:

— Не признал, Сергей Петрович? — И добавил: — Хай подавится Чухна, зверюга!

Частник, если бы мог видеть лицо комендора, не нашел бы на нем и следа обычной кротости. И голос его был тверд, когда он сказал, как бы закончив мысль:

— Не будет им пощады.

Гладкова заметили неподалеку от корабля; он обессилел и не мог плыть. Кто-то с лодки, быстро раздевшись, бросился за ним вплавь и вытащил его.

Так, мокрым с головы до пят, его и привели в трюм. Он вытирал лицо рукавом, но и рукав был

мокрый. За железной переборкой находилось машинное отделение. Голые матросы тесно прижимались к теплой стенке. Гладков выкрутил тельняшку и повесил ее на железные прутья.

— Так-то, братцы,— проговорил он, не обращаясь ни к кому.— Вот оно какого рода дело.

Получилось так, что все трое — баталер, комендор и машинист — снова были вместе в трюме, как и тогда, до восстания, хотя трюм был уже другой и сами они изменились.

Слухи о том, что их ждет, проникали и в трюм: расстрел на Северной стороне или гибель на старой барже, которую затопят в море...

Изредка сверху доносились неровные и глухие шаги. Они не могли знать, что это были шаги Шмидта. Иногда кто-то прерывисто стучал в стену: никто не знал, кто стучал, они не умели понять тюремный «телеграф», но было ясно, что кто-то свой подает знаки товарищам.

То был Вороницын. Арестовали его на крейсере, привели на «Ростислав», и там он сбросил с себя штатское пальто. А отстукивал он сочиненное на всякий случай письмо: если его убьют, кто-нибудь перешлет его, может статься, матери, чтобы та не беспокоилась о судьбе сына.

«Дорогая мама! — писал Вороницын.— Завтра я уезжаю далеко, на Урал, на медный рудник, где я устроился на работу, встретимся мы теперь не очень скоро, но встретимся обязательно, так что, мамочка, не волнуйся. Письма оттуда не приходят сейчас из-за забастовки, значит, если долго не будет их, помни, что я жив и здоров и всегда думаю о тебе».

«В Севастополе все спокойно», — писали реакционные газеты. Снова рейд засверкал огнями. Заблестели в домах вновь вставленные стекла. Вернулись кареты и фаэтоны с беглецами. Открылись магазины.

В магазин дамских шляп на Нахимовском проспекте вернулась мадам Татьяна, известившая госпож-заказчиц афишками о том, что ею получены из Парижа последние новинки осеннего сезона. На тумбах появились новые афиши, извещавшие о спектаклях «Трильби» и «Шельменко-денщик» в Народном доме попечительства о трезвости. Снова во всех городских гостиницах — «Кист», «Ветцель», «Бельвю», «Северная» — запестрели на досках фамилии видных приезжих из столицы. В ресторанах забегали между столиками официанты.

Во дворце главного морского командира Чухнин дал осенний бал по случаю усмирения мятежа. В колясках, растянувшихся по всей Чесменской улице, спешили во дворец господ в парадных мундирах и при орденах, дамы в вечерних платьях.

В разгар бала из дворца на Екатерининскую улицу вышли три флаг-офицера. Остановившись посреди улицы, там, где она круто спускалась к вокзалу, у двери редакции газеты «Крымский вестник», они поднялись на бельэтаж, вошли в помещение редакции и направились к редактору газеты, сидевшему за столом у окна. Один из офицеров, держа в руке револьвер, положил перед редактором переписанные четким писарским почерком листки и проговорил:

Редактор перелистал рукопись, взглянул на начало и конец, задержался взглядом на середине и, механически подчеркнув карандашом несколько фраз, машипально сказал:

— Не пойдет.

Но тут он поднял глаза и увидел направленный на него револьвер.

— Что? — удивленно спросил редактор, глядя на офицеров воспаленными от бессонных ночей глазами. — Пойдите-ка, я дочитаю до конца.

— Печатать не читая!

Редактор все же дочитал статью. Это был редактор-издатель либеральной газеты. То, что он успел прочитать, изумило его наглым, кощунственным цинизмом. Это была длинная, написанная казенным канцелярским языком лживая статья о причине и конце очаковского восстания, вызванного якобы «проходимцем Шмидтом, бросившим обманутых им матросов и первым бежавшим с крейсера, чтобы спасти свою шкуру». Еще бóльшим издевательством прозвучало требование флаг-офицеров печатать статью на первой странице «от редакции», без подписей ее авторов — Чухнина и Меллер-Закомельского.

— Не пойдет! — решительно повторил редактор.

— В таком случае по приказу высокопревосходительства вы будете высланы из города не в двадцать четыре часа, а в двадцать четыре минуты.

Офицеры направились в типографию и там рассыпали набор первой страницы, готовой уже к верстке, и ждали, пока наборщики под дулами револьверов спешно набирали новую статью. Гости ушли из типографии лишь на рассвете, когда газета была уже отпечатана.

— Непостижимо! — восклицали утром горожане, 139

читая в знакомой газете, вынужденной молчать о последних событиях, лживую и подлую редакционную статью.

Бал во дворце продолжался до рассвета.

Чухнин и Меллер-Закомельский в розовом зале пили кофе с ликером, показывая всем свою дружбу.

Но это была только маска. Барон в своих донесениях в Петербург утверждал, что он, а не Чухнин подавил мятеж. Он, а не Чухнин усмирил матросов. Он выполнил воинский долг и ждет признания заслуг.

«По долгу службы, — писал он царю, — имею смелость всеподданнейше доложить Вашему Величеству, что командиром на «Очакове» команда избрала бывшего лейтенанта Шмидта, известного революционера. Главного командира флота не слушают, офицеры и команды его ненавидят, жалуются на плохое довольствие, обмундирование и обкрадывание портовым начальством... Замена его другим адмиралом принесла бы значительное успокоение морякам и также жителям города».

Чухнину было, конечно, известно об этом донесении, но он молчал.

Адмиралы, капитаны первого ранга, генералы, полковники, среди которых были Неплюев, Сидельников, Думбадзе, чокались с Чухниным и провозглашали здравицы за государя императора.

Получив донесение о том, что мятеж подавлен, царь написал письмо своей матери, гостившей в Данни:

«Вчера... ген. Меллер-Закомельский энергично покончил с мятежом; морские казармы взяты Брестским полком, и крейсер «Очаков» сдался после стрельбы

с «Ростислава» и артиллерии на берегу. Сколько убитых и раненых, я еще не знаю...

Какой-то прогнанный со службы офицер — бывший лейтенант Шмидт провозгласил себя командиром «Очакова», но после боя бежал, переодетый матросом, и был пойман. Его, конечно, придется расстрелять».

3

На «Ростиславе» в каюту, где находился Шмидт, вошли в это время часовые и рыжий офицер маленького роста. Часовые бросили узникам белье и брюки, потом, прежде чем вывести из каюты, повязали им головы башлыками, надетыми без фуражек — так, чтобы не видно было лиц. С броненосца отца с сыном спустили на катер. Там было несколько конвойных.

Шмидт увидел рядом боцмана — того самого, который был приставлен к ним в кают-компани. Боцман держал в руке туго свернутые лазаретные бинты и жадно глядел в рот Шмидту. Ему было приказано забить бинтами рты узников, если они заговорят. Боцман ждал этой минуты.

Шмидт все понял. Взяв руку мальчика, он быстро зачертил пальцами на его ладони слова утешения: «Будь спокоен, спокоен, спокоен...»

Мальчик, взяв руку отца, чертил на его ладони: «Я спокоен».

Катер долго кружил по волнам. Рыжий начальник конвоя заблудился в бухте и чуть не высадил арестованных где-то далеко за городом, на пустынной косе, врезавшейся клином в море, где не было ни жилья, ни людей. Потом он спохватился, выругался и приказал рулевому повернуть в другую сторону. Катер помчался к Херсонесской крепости.

На херсонесской гауптвахте в это время прозвучал телефонный звонок. Дежурный офицер взял трубку и испуганно вытянулся. По телефону сообщили, что на гауптвахту направлен важный государственный преступник.

Дежурный потуже затянул на себе портупю и зашагал к караульному помещению. Призванный из запаса, некадровый офицер, он относился к окружающему все еще с непосредственностью, не заглушенной службой и привычкой к принуждению. С «опасными врагами отечества» ему еще не приходилось встречаться. Он волновался. Время тянулось для него тревожно и медленно.

Поздно ночью появился конвой. Между солдатами офицер увидел две фигуры, укутанные в какое-то тряпье. Когда конвой ушел, арестанты начали сбрасывать с себя все, что было на них намотано, и дежурному бросилось в глаза страдальческое лицо человека средних лет. Человек был худой, со слегка запавшими небритыми щеками, с твердо сжатыми губами. Он старался стоять прямо, но, видимо, это было ему трудно, потому что одна нога у него болела и опираться на нее он не мог.

Рядом с ним стоял подросток с бледным лицом. В выражении его глаз, устремленных куда-то вдаль, офицер уловил нечто затаенное, не юношески серьезное.

Дежурный отвернулся. Потом, отбирая по долгу службы вещи, находившиеся в рваной тужурке государственного преступника, он долго не мог прийти в себя и дрожащими пальцами начал писать квитанцию:

«Караульный начальник главной гауптвахты прапорщик Вакхевич сдал: золотые часы с металлической цепью и золотым жетоном и серебряный порт-

сигар, отобранные на главной гауптвахте от лейтенанта Шмидта 17 ноября 1905 года».

Той же ночью арестованного преступника вызвали на допрос. От жара у него слипались глаза, ныло все тело, и показания он давал неясные, сбивчивые, почти в бреду. После допроса на голову его натянули какую-то вылинявшую фуражку со свежим следом от кокарды на околыше, набросили чью-то грязную шинель без погон и препроводили его с мальчиком дальше на транспортном судне «Дунай».

Часть третья

ОСТРОВ МОРСКОЙ БАТАРЕИ

...Да, силы убеждения и чувства во мне много, и я могу... охватить ими толпу и повести ее за собой.

П. П. Шмидт

Из письма к З. П. Р.

Глава первая

По следам брата

1

Маленький пароход «Бабушка», шедший поздней осенью из Керчи в Севастополь, задыхался и часто гудел. Среди немногих пассажиров была Анна Петровна Избаш. Забившись в угол каюты, она молчала, ни с кем не разговаривала. Ни о чем не думала она, кроме как о встрече с братом, имя которого теперь повторялось всюду то со злорадством и возмущением, то с затаенным сочувствием, а то и равнодушно. Слухи о нем доносились разные. Анна Петровна, не зная где он, спешила разведать о его участи.

Рано утром пароход причалил к ялтинскому молу. Анна Петровна увидела на палубе пачки газет «Крымский вестник», которую расхватывали пассажиры. Взяв газету и начав читать статью «От редакции»,

144 Анна Петровна побледнела.



Точно это было только вчера, вспомнились Анне Петровне детские годы Пети. Был он нервным, ласковым, чутким мальчиком. Родился после трех братьев, умерших в младенчестве, боялись и за него, четвертого.

Когда мать умерла, он рос одинокий. Сохранилась у сестры маленькая книжка в красной обложке с напечатанным на ней непонятным словом «Пепа». Это было гимнастическое руководство, подаренное Пете в день рождения, когда отец начал выходить с ним в море, где учил его управлять парусом. Влюбленный в море, как отец, мальчик быстро овладел этим делом и мечтал стать также моряком.

И вот он вырос, стал морским командиром, сострадательным, справедливым. И за это оболган, оклеветан, растоптан...

Вспомнилось, как брату, уже мичману, приехавшему в отпуск из Петербурга в Бердянск, вздумалось работать на заводе сельскохозяйственных орудий Классена. Каждый вечер Аня нетерпеливо ждала его возвращения с завода. Когда он приходил и сбрасывал с себя офицерскую шинель, надетую на запачканную рабочую рубаху, в доме становилось шумно и весело. Петя не всегда был печальным, в его характере была и жизнерадостность.

В Петербурге Анна Петровна училась в институте и встречалась с братом редко, лишь в праздничные дни. Но она всегда тянулась к нему и считала счастливым тот час, когда бродила с ним по улицам, — она в строгом институтском платье с фартуком и белой кружевной пелеринкой, оттенявшей ее смуглое лицо, он в форме гардемарина. Встречая нищих, он хмурил тонкие брови, теснее сжимал губы. На улице в холодный петербургский вечер он ведь и встретился с той девицей, в которой увидел Сонечку Мармеладову и,

тронутый сиротской ее участью, решил жениться на ней для того, чтобы ее спасти.

— И это он такой?! Как тут написано? — повторила вслух Анна Петровна, бросая за борт газету.

Пароход «Бабушка», обойдя слева маяк, вошел в Севастопольскую бухту. С веселым шумом проносились шлюпки и катера с офицерами. Пароход, проходя мимо «Ростислава», вздрогнул, точно испуганный, медленно разворачиваясь на месте. На флагманском корабле ярко блестела медь, озаренная осенним солнцем. Потом пароход «Бабушка» прошел близко от «Очакова», черневшего обгорелым корпусом. Не было на крейсере ни красного флага, ни мостика, на котором еще недавно стоял лейтенант Шмидт.

На пристани, куда причалил пароход, и выше, на Нахимовской площади, Анна Петровна увидела солдат, готовящихся к погрузке на судно. Ротный командир обходил строй. Солдаты, поворачивая вслед ему голову, также глядели на пристань, откуда их увезут домой, в Одессу. Здесь они уже не нужны.

Анна Петровна спешила в дребезжащей извозчичьей пролетке на Соборную улицу, во флигель, где жил брат.

2

Во дворе она увидела двух солдат. Они дежурили у флигеля с бесстрастными, как у слепцов, лицами. Угрюмо зеленели издали наглухо заколоченные ставни. В палисаднике, окружившем домик, осыпались розы. Большая желтая собака Лорд, узнав гостью, бросилась к ее ногам со звонким счастливым лаем, долго кружила вокруг нее и, соскучившаяся по человеческой ласке, приветливо махала хвостом.

— Господи, барыня! — бормотал он и, остановившись, долго не мог перевести дыхание. — Вот наказание! Квартеру их благородия запечатали. Только коридор оставили и кухню. Остался я жить в той кухне один.

Гостья не сразу вошла во флигель, не решилась подняться по ступенькам, на которых еще недавно, в последний ее приезд из Керчи, встречал ее брат.

— Где Женя? — спросила она, оглядываясь.

Молчание. Она встревоженно повторила: — Где?

Но только и узнала она, что племянник, вызванный отцом, ушел на корабль и не вернулся. Анна Петровна бросилась со двора на улицу и остановилась у соседнего дома, где жила старуха-тетка.

— Где Женя? — выкрикнула она на пороге теткойной квартиры. — Где Петя?

И почувствовала на себе колючий, холодный, сурово осуждающий взгляд старухи. Смирная и тихая раньше, ставшая богомольной после смерти мужа-капитана, любившая Петю всей душой, тетка сейчас была замкнутой и отчужденной.

— Женя с ним... — проговорила она неохотно, прикрывая рот ладонью, как будто боясь сказать что-либо лишнее. — На какой-то гауптвахте, говорят.

Она ни разу не назвала племянника по имени. Боялась. Продолжая стоять у двери, она не предложила Анне Петровне войти в комнаты. Ошеломленная встречей, она забыла накрыть голову платком, и в седых волосах ее видны были торчащие бумажные папильотки, придававшие ей смешной вид.

— Он хотел взорвать город пироксилином! — воскликнула она вдруг с неподдельным ужасом на лице. — В нашем роду, господи, господи, царица небесная, такого не было. В нашем роду... Город! Взорвать пироксилином!

Она говорила еще что-то, крестясь, но Анна Петровна уже не слушала ее и ушла, не прощаясь.

Не лучший прием встретила она и у других родственников, живших в Севастополе. Среди них был и двоюродный брат, артиллерийский офицер. При появлении двоюродной сестры, он поднялся и ушел в другую комнату. Но через минуту вышел к ней, дрожа от негодования.

— Чем могу-с? — промолвил он. — Почему ко мне-с? А газету, сударыня, ты читала?

Хлопнув дверью, он снова ушел и уже больше не вернулся, обиженный не только за себя, но и за весь свой род, в котором появился мятежник.

Кутаясь на холодном ветру в шубку, Анна Петровна брела по улицам, не зная куда. Надо было найти брата.

На Большой Морской, у здания городской думы, она остановилась. Перед восстанием брат часто бывал здесь. Встречался с гласными и городским головой, который выступал на митинге вместе с братом и даже целовался с ним после клятвы на кладбище. Не может он не знать о дальнейшей судьбе брата.

Городской голова тотчас же принял посетительницу, назвавшуюся сестрой лейтенанта Шмидта, но, разговаривая с нею, глядел не на нее, а куда-то в стенку, поверх головы ее, и все время дрыгал беспокойными пальцами, то скатывавшими шарик из бумаги, то бесцельно нажимавшими на пресс-папье.

— Видите ли, сударыня, разнесся слух, что состоялся уже военно-полевой суд, и это, конечно, очень взволновало городское население, но... но, видите ли, это не совсем соответствует действительности. Вот извольте убедиться...

Городской голова достал из ящика письменного стола печатный листок-воззвание и протянул его посетительнице. Листок извещал о том, что суда еще не было. Сестра немного успокоилась.

— Он находится сейчас на херсонесской гауптвахте,— продолжал городской голова,— обвинять его будет военный прокурор полковник Ронжин. Остановился в гостинице «Кист». Следственную комиссию возглавляет генерал Колосов. За справками обратитесь к прокурору. Я, видите ли, весьма сожалею, сударыня, что ваш брат очутился на «Очакове»...

— Почему же? Ведь вы вместе...

Городской голова жестом оборвал беседу. Он искал слова, но не нашел. Теперь на его лице можно было прочесть такой страх, что голова даже не пытался его скрыть.

— Я все сказал, сударыня...

Он уже раскаялся в своем порыве, когда, увлеченный общей волной, выступил на одном митинге вместе с лейтенантом и призывал городское население протестовать против произвола. Если бы знал он, чем кончится его порыв, он лучше промолчал бы, как молчит сейчас.

Лишь провожая даму, уходящую от него, он, широко раскрыв перед нею дверь, проговорил:

— Желаю удачи...

3

К военному прокурору полковнику Ронжину Анна Петровна приходила два раза, но не заставала его в гостинице. Портье, узнав, кто посетительница, сказал, что «они изволят уезжать» в следственную комиссию каждое утро и чтобы «застать их-с», следует прийти к семи часам.

На другой день она пришла в гостиницу, когда на улицах было еще темно, холодно и пусто. Полковник спал. Ожидая, когда он встанет, она бродила в вестибюле. Окна выходили на море.

Полковника она увидела в конце коридора и пошла ему навстречу. Худой, высокий, смуглый, с большими черными глазами, он был похож не на петербуржца, а на жителя юга. Остановившись на полпути перед незнакомой дамой, он вопросительно поглядел на нее. Комната его была еще неубрана, прокурор предложил даме побеседовать несколько минут на балконе.

— Я приехала узнать о судьбе моего брата, — проговорила Анна Петровна. — Ради бога, что с ним?

Лицо прокурора оставалось неподвижным. Ничего нельзя было прочесть на нем, кроме замкнутости. Он сидел прямо, глядел на собеседницу отсутствующим взглядом. Выслушав ее, он проговорил:

— Военный министр прислал приказание барону Меллер-Закомельскому выделить дело вашего брата из общей подсудности и решить его в одну неделю. Не имею намерения скрыть от вас, что в таком случае был бы вынесен поспешный приговор, и я сообщил барону, что не соглашусь вести это дело и выйду из него, если не будет соблюден нормальный военно-юридический порядок. Барон, уезжая в Петербург, обещал поддержать мое мнение.

— Я прошу вас разрешить мне свидание с братом.

— Он на херсонесской гауптвахте.

— Знаю.

— Вашу просьбу выполнить невозможно.

— Почему?

— Свидание с ним от меня не зависит. И вообще

150 нет таких должностных лиц, которые сейчас, до окон-

чания следствия, могли бы разрешить встретиться с государственным преступником.

— Тогда, господин прокурор, вот что... Освидетельствуйте его здоровье. Ведь он столько пережил. Так настрадался. Разве после этого он может быть вполне здоровым? Нет, не может. Я прошу вас, освидетельствуйте.

— И это не представляется необходимым выполнить,— проговорил Ронжин, пытаясь смягчить улыбкой резкость.— Ничего не могу сделать в этом отношении. Извините, сударыня, я тороплюсь в следственную комиссию.

Взяв в руки портфель, он слегка кивнул и вдруг встревоженно остановился у выхода. С моря, со стороны крепостной батареи, донесся залп. Прокурор слегка побледнел. «Опять началось?» — можно было прочитать на его лице.

Но это на Константиновской батарее разряжали орудия, только и всего.

Все было спокойно. Можно было ехать в следственную комиссию. С балкона в коридор Ронжин направился спокойным шагом.

— Госпожа Избаш,— проговорил он на ходу,— обратитесь в следственную комиссию с письменным заявлением.

Глубоко, у самого сердца, Анна Петровна ощутила щемящую пустоту. Она медленно вышла из гостиной на площадь и остановилась, опять не зная, куда идти.

В кармане шубки лежали адреса знакомых брата, о которых раньше Анна Петровна слышала мельком. Может быть, кто-нибудь из них посоветует, как увидиться с Петей.

Одним из знакомых был инженер-механик Володзько. Брат дружил с ним с давнего времени, когда

оба до войны с Японией плавали в тихоокеанских водах на транспорте «Иртыш». Дружба их была крепкой. Вместе они состояли в полуполюгальной организации «Союз офицеров».

Квартиру инженера Анна Петровна разыскала в одном из одноэтажных домов на Мало-Офицерской улице. На звонок вышла его жена Мария Павловна. Узнав, кто явился, она бросилась к вошедшей и заплакала.

— Сестра Петра Петровича! — воскликнула она сквозь слезы, засеркавшие на ее молодом, но измученном и болезненном лице. — Я боготворила его. Молилась на него. А... а что пишут о нем в газете? «Трус». «Продался за деньги». Он продан? Петр Петрович?.. Боже мой. Я знаю, как он всегда нуждался. Вот. Смотрите.

Володзько протянула гостье визитную карточку лейтенанта, на которой знакомым крупным косым черком было написано: «Дорогая Мария Павловна, дайте моему Федору пять рублей на пропитание мне».

— Я обрадовалась, что могу служить ему, — продолжала Володзько, — и послала ему пятьдесят рублей. И он расплатился за месяц обедов себе и сыну. Вот как он жил. А они его так... За что?

Она снова заплакала и, взяв руку гостьи, нежно погладила ее и продолжала сквозь душившие ее слезы:

— Голубушка, успокойтесь.

Анна Петровна ответила ей крепким и благодарным рукопожатием. Они сидели в креслах, обнявшись, точно встретились не в первый раз и были знакомы давно.

— Милая, не волнуйтесь, — продолжала Мария Павловна, глядя на Анну Петровну воспаленными глазами и дрожа от возмущения, — не надо. Я ведь

тоже ничего не знаю. Мы его найдем. Жаль, нет мужа. Он служит на транспорте «Дунай». Не знаю, когда вернется. После восстания не пускают еще на берег военных моряков. Знаете что? Оставайтесь у нас. Вместе будет легче.

В тот же день Анна Петровна переехала на Мало-Офицерскую из гостиницы «Ветцель», где ее фамилия значилась в списке приезжих.

Из знакомых брата она посетила и доктора Веймарна. Очень взволновался доктор, когда она назвала себя. Он быстро закурил, но папироса потухла в его губах. Он зажег спичку, но она обожгла его пальцы.

— Сестра моего друга! — воскликнул он, подавляя волнение. — Я пришел к нему накануне событий, но поговорить с ним не удалось. У него было много матросов. Я пришел второй раз. Он был один. Восторгался матросами. «Что за молодцы! — говорил он. — Какие умные, энергичные, прекрасные люди!» Жалел он только о том, что они торопились выступить немедленно, когда еще не были готовы. Надо было позже. Он понимал это, но уже трудно было ему отказаться. Он не мог оставить матросов одних. Вот какой он человек! Где он сейчас? Сам не знаю.

Доктор тоже выступал на митинге вместе с лейтенантом и не жалел об этом, хотя не мог быть спокоен и за свою участь.

На следующий день рано утром Анна Петровна пошла на Графскую пристань и наняла там лодку. Отойдя от берега, лодка легко и быстро пошла по волнам. Вблизи маяка ее обогнала военная шлюпка, заполненная людьми в морских мундирах. Мелькнула фигура Ронжина. Когда лодка причалила к противоположному берегу, Ронжин стоял уже там, поджидая Анну Петровну. Это удивило ее и насторожило.

— Я провожу вас, — проговорил он и пошел рядом

в гору, к морским казармам, где заседала следственная комиссия.

Площадь перед казармами была пуста. На одной стене казармы зияло глубокое отверстие, пробитое снарядом с канонерской лодки «Терец». Окна чернели пустотой.

Войдя в сопровождении Ронжина в одну из казарм, Анна Петровна остановилась, ожидая вызова в комиссию. Вскоре ее позвали к казенному защитнику капитану Левинсону. Она и его попросила о медицинском освидетельствовании брата. Защитник, записав в блокнот ее просьбу, сказал:

— События сейчас меняются так быстро, что, возможно, нам не удастся довести судебный процесс до конца.

— Что вы хотите сказать?

Левинсон не ответил. Он неопределенно махнул рукой и поднялся со стула, давая этим понять, что беседа окончена. Она пошла к председателю следственной комиссии генералу Колосову.

Ее удивила его наружность. Был он седой, маленького роста, с трясущимися руками, но с розовым лицом и сладкой улыбкой, похожий на пожилого херувима. И речь его была елейная и в то же время шутовская и хвастливая.

— Считаю долгом предупредить вас, сударыня,— проговорил он,— что я назначен на пост председателя, как старший здесь в чине. Старший во всем городе. Прошу принять это во внимание. Именно я.

— Я прошу освидетельствовать брата.

— Это почему?

— Он болен и не выдержит суда.

— Совершенно напрасно тревожитесь. Он совершенно, уверяю вас, здоров. Я видел его на первом допросе...

— Когда? — вскрикнула Анна Петровна. — Где?

Генерал приложил палец к губам.

— Не имею права сказать.

— Я прошу вас. Я сестра.

— Вот потому и не скажу.

Генерал прикрыл глазки и, с самодовольным видом откинувшись на спинку кресла, захихикал в кулак.

— Скажите, — проговорил он, не отрывая кулака от рта, и вдруг нахмурился. — А как, собственно, ваш брат относится к своей жене?

— К какой жене?

— К Доминике Степановне Павловой.

— При чем здесь она? — растерянно пробормотала Анна Петровна. — Не понимаю.

— Притом, что нам важно знать о государственном преступнике все досконально. Ваш брат к тому же деспот. Угнетал невинную перед ним женщину, потому что она из простого звания. Подал на развод без уважительной причины.

— Откуда вам это известно?

— Она побывала в следственной комиссии.

Зловещая тень Доминики промелькнула и здесь. Женщина эта, ставшая несчастьем и проклятьем брата, угрожала ему и сейчас, когда они разошлись. Угрожала своими наказаниями, вызванными мстительной злобой, вечно клокотавшей в ней. Может быть, она пойдет и к Чухнину.

— Речь идет о поруганной чести женщины и о бывшем офицере императорского флота, — продолжал генерал. — Недостойно вел себя ваш братец. Несоответственно чину и происхождению. За кого хлопчете? Прошу принять сие во внимание.

— Значит, просьбу мою не удовлетворите?

— И не думайте, — ответил генерал, — не надей-

тес на это. Он совершенно здоров. Неуместная просьба.

— И не разрешите свидание на херсонесской гауптвахте?

— Его там нет.

— Где же он?

— Тайна.

Поздно вечером Анна Петровна вернулась на Мало-Офицерскую. Еще в передней она услышала густой мужской голос. Незнакомый о чем-то возбужденно говорил в соседней комнате.

Это и был инженер Володзько.

Транспорт «Дунай», где он служил, — тот самый, на котором отправляли с гауптвахты Шмидта с сыном неизвестно куда, — только что вернулся из небольшого приморского города. Не сумев удержаться от крика, Володзько рванулся к шлюпке, из которой поднялся на «Дунай» и Шмидт. Он успел только заметить, что друг его шел, припадая на одну ногу. За все время перехода судна до приморского городка он больше не видел арестанта. Уверенный в том, что тот не узнал его, очень удивлен был Володзько, получив переданную через матроса записку, в которой Шмидт черкнул знакомым почерком несколько строк: «Найди сестру Аню и сообщи ей, что видел меня. Мы живы-здоровы. Духа своего не угашайте!»

Инженер ещё раз увидел лейтенанта уже на рейде. Его вывели к трапу. Он пытался спуститься сам, но пошатнулся и упал. Матросы подняли его и осторожно понесли в шлюпку.

— Петя! — закричал ему вслед Володзько, но ветер отнес его крик, и никто его не услышал.

Шмидт смотрел вперед, на голый пустынный берег. Бледное лицо его было спокойно. Он стоял долго, до того момента, когда шлюпка подошла к

берегу, к острову морской батареи, к городу, где находился каземат. Город назывался так же, как назывался мятежный крейсер: Очаков.

4

В Одессе, откуда открывался ближайший путь к острову, сестра лейтенанта Шмидта пришла во дворец командующего войсками военного округа генерала барона Каульбарса. Из сумочки, лежавшей в муфте, она достала записку от Ронжина по делу брата, в которой прокурор сообщал некоторые сведения относительно вызова сестры в следственную комиссию.

Дежурный, узнав почерк Ронжина, впустил просительницу к Каульбарсу, хотя тот в этот день не принимал.

— Ваш брат государственный преступник, — выпалил он, не здороваясь, — с ним поступят по закону. Свидания разрешить не могу.

Не приглашая даму сесть, он и сам стоял у стола в течение всего разговора. С каждым словом он становился все более холодным. Командующий молодился. Это видно было и по негибавшейся его фигуре, затянутой в корсет, и по натруженному, срывающемуся басу, которым он пытался говорить, по крашеным усам. Взгляд его выцветших старческих глаз был пуст.

— Прошу извинения, — сказал он, не меняя позы, — не могу уделить вам больше времени.

— Брат нуждается в самом необходимом. Я должна доставить ему вещи. Вы запрещаете встречу. В таком случае доставьте меня к нему под конвоем. Как вам угодно. Я только передам вещи и вернусь.

— Какие?

— Белье и одежда.

— Привезите сюда завтра. Проверим.

На следующее утро сестра привезла во дворец чемодан. Дежурный офицер быстро доложил о ней и впустил ее к Каульбарсу, не заставляя ждать и невзирая на очередь просителей.

— Госпожа Избаш! — любезно произнес он с показной почтительностью. — Его превосходительство ждет-с... — И даже забежал вперед, чтобы открыть дверь в кабинет. И опять, как вчера, шла просительница к этой мрачной комнате, полузакрыв глаза. Но в кабинете произошло неожиданное: генерал стоял у двери, улыбаясь. Даже усы его показались на этот раз настоящего цвета, не крашеными, и весь он был какой-то более естественный. Рядом стояла молодая девушка, легкая и воздушная, в белом платье с голубым бантом.

— Моя дочь! — проговорил Каульбарс.

И оттого, что девушка стояла рядом и не уходила из кабинета, все вокруг потеплело, и Анна Петровна подумала: разве может быть жестоким генерал, если у него такая дочь?

Но почему же все-таки явилась она? И почему он улыбается? Что произошло за одни сутки? Об этом некогда было сейчас подумать.

— Вещи будут доставлены брату, — проговорил Каульбарс, — не беспокойтесь.

От этой любезности просительница совсем осмелела и выразила даже тревогу по поводу того, как питается брат, но и к этому генерал отнесся одобрительно.

— Стол будет улучшен, — проговорил он, — не беспокойтесь.

— И я могу поехать к нему?

— Да, милостивая государыня.

Анна Петровна, охваченная нетерпением, поднялась, выпрямилась, достала носовой платочек, чтобы вытереть неожиданно хлынувшие счастливые слезы. Поклонившись, она вышла из кабинета, полная самых бодрых мыслей.

Не знала она, что внезапная перемена в настроении генерала произошла только из-за страха его, как и других высокопоставленных особ, перед меняющимися событиями. Еще не убывала волна революции. Только этой ночью, после того как сестра «государственного преступника» ушла из дворца, в одесском гарнизоне вспыхнули волнения, и Каульбарс решил на всякий случай быть мягче.

Пароход уходил в Очаков только утром. До отплытия его оставалось много времени. В Одессе, хотя Анна Петровна и родилась здесь, не было у нее ни одной знакомой семьи, и до позднего вечера она бесцельно бродила по улицам. Перед памятником Ришелье Анна Петровна присела на скамью. Скамья была мокрая после недавнего дождя. Желтые листья каштана осыпались. Перед ней была лестница, еще недавно залитая кровью людей, убитых здесь в дни потемкинского восстания. Теперь на лестнице было пусто.

Потом Анна Петровна увидела себя в Стурдзовском переулке. Вот здесь, в бабушкином доме, играла она с маленьким Петей, который был тогда и страшным всадником на деревянной лошади, и капитаном корабля, плававшего в садовом бассейне. Здесь жили они и позже, когда в доме поселилась мачеха Ольга Николаевна Бутенко, на которой отец женился вскоре после смерти мамы, и когда детство было смято недобрый отношением чужой женщины и суровостью отца. Все же это было детство. А теперь из

отцовской семьи после заточения брата осталась она одна. И все время казалось ей, что вместе с Петей погибнет и она, и тогда от семьи никого не останется.

Ничего не видно было за окнами, чьи-то чужие тени мелькали за шторами, кто-то жил сейчас в бабушкином доме, давно проданном отцом.

Как в детстве на молитве, Анна Петровна сложила руки и спросила вслух, заглядывая за занавески, туда, где шевелились неясные тени:

— Где мама? Где Оля?

Очень рано умерла мама. Совсем молодой ушла из жизни старшая сестра Оля, милая, нежная, непонятная в своей тоске, тревоге и беспокойстве за людей. Вот и Петя мечется всю жизнь. Что сейчас с ним?

Как трудно ждать до утра!

Б

Близ пустынного городка с полосатыми караульными будками у пушек мрачно чернел остров морской батареи.

В городке, у жандармского ротмистра Полянского, которому поручено было наблюдение за Шмидтом, сестра написала короткое письмо брату, который томился в одном из каменных казематов. Писала она быстро, волнуясь и пытаясь вложить в немногие строчки все, о чем она думала в последние дни, но так, чтобы ее мыслей не понял ротмистр.

Вошли два жандарма. Они только что вернулись с батареи, где каждый день видят Петю. Один из них ответил на приказание ротмистра: «Так точно», и

слова, п рука у козырька — ведь жандарм каждый день видит ее брата.

Было уже темно, когда она вышла от ротмистра. На острове, в том месте, где возвышался каземат, вспыхнул красный огонь. Глухая ночь опустилась на глухие улицы Очакова, застроенные низкими каменными домами, придавленными к земле. В этот поздний час был получен от брата ответ.

«Спасибо за вещи,— было написано на сером бумажном клочке.— Обо всем, что я сделал, не жалею. Считаю, что поступил так, как должен был поступить каждый честный человек».

Не добившись свидания, она вернулась в Севастополь.

Там ей вновь сказали, что до окончания следствия никто не будет допущен к узнику.

Но ведь следствие было незаконным! С первого дня ареста брата допрашивали только один раз, причем в продолжение девяти часов. Об этом сестра написала в Петербург председателю либерально-демократического объединения интеллигенции «Союз союзов», прося его помочь.

Снова вспыхнула почтово-телеграфная забастовка, вторая по счету, и письмо пошло с оказией через вагонного проводника, которого отыскивали инженер Володзько и доктор Веймарн.

Стало известно и то, что Чухнин получил две телеграммы от морского министра: в одной сообщалось, что царь недоволен медлительностью следствия, во второй был его же вопрос — когда будет окончено с изменником?

На один день Анна Петровна вернулась домой, в Керчь, где давно ждали ее муж и дети. Их было четверо: Катя, Коля, Сережа, которого в семье называли «Мака», и Лена, прозванная «Лялей». Один

называл так в младенчестве хлеб, другая — куклу. Неотделимы были от детей эти прозвища.

Керчь встретила Анну Петровну знакомой уютной тишиной. В этом городе семья жила давно. Гора Митридат защищала дом от ветра, дувшего здесь жестоко, как и в других приморских городах.

Свернув с Воронцовской в один из нагорных переулков, Анна Петровна вошла в калитку, заросшую ползучим вьюнком, называвшимся здесь по-украински крученым панычем, и заплакала, хотя здесь, дома, ничто не напоминало о ее мытарствах. Дети притихли. Только один из них, старший, знавший, зачем уехала мама, спросил:

— Где дядя Петя?

Она не ответила. Не могла ответить.

Глава вторая

Первое свидание

1

«Голубка моя, дорогая, сегодня прошло две недели, как я нахожусь под стражей, и я не имел за все это время ни одного известия от вас. Здоровы ли вы? Я успел уже два раза через добрых людей сообщить вам, что я жив, а теперь и совершенно здоров и счастлив.

Счастлив как никогда в жизни, потому что только теперь могу умереть с глубоким сознанием исполненного долга.

Мне часто думается, что Россия не позволит меня предать смертной казни, но, право, я думаю, что моя

смерть была бы полезней для погибающего народа, чем моя жизнь.

Моя смерть подняла бы десятки тысяч новых борцов, тоже готовых отдать с восторгом свою жизнь за освобождение замученного народа. Может быть, моя смерть подняла бы новую небывалую волну народного негодования и явилась бы причиной окончательной победы народа над гнетом преступных опричников.

Эти мысли постоянно занимают меня, и я пойду на смерть спокойно и радостно, как спокойно и радостно стоял на «Очакове» под небывалым в истории войн градом артиллерийского огня. Я покинул «Очаков» тогда, когда его охватил пожар и на нем уже нечего было делать, некого было удерживать от панического страха, некого было успокаивать...

Я понял только теперь, что истинная храбрость может явиться только от глубокой веры в правду дела, которое защищаешь. Эта вера сделала меня неустранимым, а все эти испуганные люди с обезображенными от ужаса лицами казались мне просто детьми.

Не верьте официальным донесениям, что я бежал в матросском платье. Это ложь. Я бросился в воду голый тогда, когда «Очаков» горел и нечего было на нем делать. Перешел на миноносец, где был Женья, но миноносец тоже подбили артиллерией, и нас взяли в плен; тогда на мое голое тело накинул кто-то матросскую шинель, но я не унился бы до маскарада.

Если меня не расстреляют, то я приду к вам и скажу вам, что теперь и я имею право на свое счастье и что это счастье можете дать мне вы одна.

Женья со мной, и я много с ним мечтаю о том, как я буду жить с вами, как я сделаю вас очень счастли-

вой... Главное, будьте покойны, голубка моя, и не страдайте за меня; повторяю вам: я счастлив, стало быть, и тому, кто любит меня, мучиться нечего, а надо за меня радоваться...

Пишите мне немедленно о своем здоровье и о том, что вы любите меня, письмо от вас мне очень и очень нужно.

Каземат Очаковской крепости».

Написав на конверте киевский адрес, лейтенант Шмидт передал это письмо одному из часовых. Тот, быстро оглянувшись, спрятал письмо в рукаве. Это был верный человек.

В каземат вошли трое в штатском. Они оказались врачами, присланными следственной комиссией. Один — окулист, другой — психиатр, третий — почему-то педиатр.

Узник насмешливо сказал психиатру:

— Если я ненормален, то ненормальны и миллионы людей, населяющих Россию, ненормальна вся охваченная революцией страна. Если бы я теперь был выпущен из каземата, то поступил бы так же, как раньше.

Получив записку от сестры, он понял ее намерение — отсрочить медицинским осмотром суд и улыбнулся трогательной наивности этой уловки, в которой также узнавал свою Аню. Нет, не нужна ему отсрочка, если даже увеличит она шанс на спасение, потому что он решился на подвиг совершенно здоровым, при ясном уме и твердом сознании. За все, что совершил, он ответит полной мерой, пусть даже своей жизнью.

Милая Аня, сестра единственная! Измучилась она, видимо, в хлопотах и заботах... Спасибо ей за все. Но пусть поймет и она, что он не позволит признать себя больным.

Беспокоился он сейчас о другом. Угнетало его заточение сына. Мальчик побледнел, осунулся. Больно было чувствовать свою вину перед ним. Лейтенант Шмидт молча отводил взгляд от Жени, одетого в арестантский халат, нелепо подстриженного.

Сын старался бодриться, чтобы не причинять отцу лишней тревоги. Он тихо что-то напевал, даже улыбался, но и улыбка, и песня не получались.

Начальство обещало на днях освободить сына, но шли дни и недели, сменявшиеся в маленьком казематском окошке то светлыми, то синими, то темными пятнами, а мальчика все не освобождали.

Далеко за островом шла другая жизнь, печальная и радостная, счастливая и трудная, а здесь была только мертвая тишина. Звуки не проникали сквозь толстые стены. Шаги часовых замирали под глухими сводами.

Где-то, когда-то, очень давно было и у Жени Шмидта детство, отмеченное праздничными балами в реальном училище, летними прогулками на катере в Инкерманские пещеры, морскими купаниями вместе с отцом, катанием на коньках. А сейчас ничего нет. Тишина. Неподвижность. Неволья.

Но Женья был горд за отца.

«Вот он какой, мой папа! Он все скрывал от меня, ведь я был маленький. Но теперь я все пойму. Буду с ним. Никуда не уйду. Меня не надо жалеть».

2

В одну из ночей, прошедших особенно тревожно, Шмидту удалось заснуть только под утро, и тут его внезапно разбудил тихий скрип двери. Он протер глаза и оглянулся. Рядом на койке, свернувшись

калачиком, по-прежнему спал Женя. Никого больше в камере не было. Почему же закрипела дверь? Может быть, почудилось? На полу он увидел какой-то сверток, брошенный, видимо, в спешке. Он вскочил с койки, поднял сверток, быстро развернул его. Газета «Новая жизнь». На первой полосе бросился в глаза крупный заголовок, густо подчеркнутый красным карандашом: «Войско и революция».

«Восстание в Севастополе все разрастается,— читал узник, чувствуя как дрожит в его руках газета.— Дело близится к развязке. Борющиеся за свободу матросы и солдаты устраняют начальство. Порядок поддерживается полный. Правительству не удастся повторить кронштадтской гнусной проделки, не удастся вызвать никаких погромов. Эскадра отказалась уйти в море и грозит городу, если попробуют усмирять восставших. Командование «Очаковым» принял лейтенант в отставке Шмидт, отставленный за «дерзкую» речь о защите с оружием в руках свобод, обещанных в манифесте 17 октября. Сегодня 15-го должен был окончиться, по сообщению «Руси», срок, назначенный для сдачи матросам.

Мы стоим, следовательно, накануне решительного момента. Ближайшие дни — может быть, часы — покажут, победят ли вполне восставшие, будут ли они разбиты или будет заключена какая-нибудь сделка. Во всяком случае, севастопольские события знаменуют полный крах старого, рабского порядка в войсках, того порядка, который превращал солдат в вооруженные машины, делал их орудиями подавления малейших стремлений к свободе...

...Севастопольские события не одиноки и не случайны. Не будем говорить о прежних попытках прямого восстания во флоте и в армии. Сопоставим с севастопольским пожаром петербургские искры.

Вспомним те солдатские требования, которые намечаются теперь в различных воинских частях Петербурга (они напечатаны во вчерашнем номере нашей газеты). Какой замечательный документ этот список требований! Как ясно показывает он, что армия рабская превращается в армию революционную. И какая сила удержит теперь распространение подобных требований во всем флоте и во всей армии?»

На мгновение узник прикрыл глаза, крепче сжал в руке петербургскую газету. Всю душу перевернули эти слова: «Севастопольские события не одиноки!»

— Петербургские искры... — прошептал узник.

Нет, не погасли эти искры в измученной душе лейтенанта. Петербургские рабочие, которых не знал он, протянули ему руку. Не эти ли самые требования предъявили здесь матросы?

От статьи повеяло свежим, бодрящим ветром, хотя газета пришла поздно, и дело уже не «близится к развязке», а погребло. Погребло на этот раз не навсегда...

«...Пусть лицемерная или сентиментальная буржуазия мечтает о разоружении,— читал Шмидт последние строки.— Пока есть на свете угнетенные и эксплуатируемые, мы должны добиваться не разоружения, а всеобщего народного вооружения. Только оно вполне обеспечит свободу. Только оно вполне свалит реакцию. Только при условии этого преобразования свободой воспользуются на деле миллионы трудящихся, а не одни лишь горстки эксплуататоров».

Дочитав статью до конца, Шмидт снова возвратился к ней, и чем больше читал ее, тем чаще находил в ней мысли, назревшие давно и в его уме. Да ведь он и так думал о войске, сливающимся с революцией! Да ведь это его собственные раздумья о бур-

жуазном лицемерии. Автор заглянул в него глубоко, как старый, хорошо знакомый друг. Кто же он, автор?

Шмидт взглянул на подпись и прочитал: «Н. Ленин».

Он не знал, что газета была брошена в камеру часовым, который получил ее от посланца Севастопольского подпольного комитета.

3

Сестра снова приехала в Очаков накануне рождества, когда в квартире жандармского ротмистра запахло хвоей и в кабинете, на зеркально натертом паркете, в углу, стояла сверкающая елка. Было в этой елке и в большой кукле, лежавшей на подоконнике, нечто такое, что повлекло женщину домой, к детям, к мужу. За окном скрипели по первому снегу полозья, пронесли сани с бубенцами и колокольчиками.

Стерев платочком снежинки с ресниц, Анна Петровна присела на краешек кресла и напомнила ротмистру, что следствие окончено. Но тот пожал плечами. У него не было никаких указаний.

Ротмистр послал срочную телеграмму — запрос Ронжину. В ожидании ответа сестра сидела в гостинице «Семейные номера» и глядела через окно в беззвездную тьму, окутавшую городок. В позднем часу заглянули к ней хозяева гостиницы, муж и жена Таковенко, оба маленькие и румяные, похожие друг на друга, одинаково даже одетые в мужские пальто.

Хозяин глядел на презжую ласковыми глазками и разговаривал с нею тонким певучим голоском. Уйдя, он прислал девушку-служанку. Та очень долго подметала венником чистый пол и стряхивала тряп-

кой пыль со стола, который также был чист. Все время она пыталась заговорить с приезжей и все вздыхала. Днем хозяева напевали совсем тихо, но гостиница была такая небольшая, что песня их слышна была и в номерах, и в клетушке дежурной, где тщательно вписывали они в книгу фамилии приезжих, и в коридоре, где всегда пахло свежим печеным хлебом, потому что внизу под гостиницей помещалась пекарня.

— Не надо ли чего-нибудь? — то и дело спрашивали приезжую то муж, то жена. — Может, в лавку сбежать? Или другого чего-нибудь?

Но ничего не надо было приезжей. Она все смотрела в окно, за которым солнце давно провалилось куда-то в черную бездну и лишь где-то далеко все еще мерцал красный огонь.

Рано утром в дверь постучали. Вошел жандарм, сообщивший, что из Севастополя получено телеграфное разрешение на свидание и что сейчас явится «их благородие ротмистр Полянский», чтобы вместе с нею поехать на остров морской батарей. Тот вскоре пришел, нарушив тишину звоном шпор.

Небо на горизонте порозовело, предвещая мороз. Шуга, покрывшая только вчера лиман, сегодня смерзлась, и катеру пришлось пробиваться к острову между льдинами.

Выйдя на берег, ротмистр, три солдата и женщина пошли по узкой тропинке, засыпанной за ночь снегом. Солдат, шедший с большим ключом в руке, ускорила шаг, пристально разглядывая впереди низкие каменные казенные постройки с решетками на окнах и полосатыми будками вокруг. Женщина остановилась. Трудно и страшно было ей идти дальше, к каменной стене. Она медлила, будто выжидала чего-то. Ротмистр заторопил ее.

— Сейчас,— проговорила она еле слышно,— ботик расстегнулся.

Ботик был застегнут, а она все еще стояла. Закоченевшие руки ее дрожали. Снег слепил глаза. Погодить минутку, только одну минутку, чтобы переждать внезапно накатившийся ужас перед стеной, за которой спрятан брат!

Солдат, шедший впереди, поравнявшись с каменным зданием, открыл дощатую дверь, затопал по коридору и остановился перед второй, железной дверью, медленно открывая ее.

— Аня, это я! — услышала она рядом знакомый голос и уже как во сне увидела руки брата, протянутые к ней.

Анна Петровна вскрикнула.

— Ну, Аня, Аня, Аня...

Она упала ему на грудь. Потом кто-то брызгал ей в лицо холодной водой и испуганно говорил: «Да успокойтесь же».

Сестра увидела перед собою не того Петю, которого знала, а пожилого человека в арестантском халате, заросшего густой щетиной.

— Женья! — вскрикнула она, подбегая к койке и целуя мальчика. — Я привезла тебе освобождение.

На лице мальчика не было радости. Он только спросил угрюмо и печально:

— Зачем?

Сидя с братом на койке, она молча разглядывала мрачные, низко нависшие своды, мутное окошко, не пропускавшее света, холодный каменный пол. У двери стояли солдаты и ротмистр, опирающийся на саблю. Брат поднялся, зашагал, заговорил. Ротмистр слушал каждое его слово.

— Я не жалею о том, что сделал, Аня,— говорил брат,— за все отвечаю я сам. Пусть меня одного и

судят. Но меня гнетет и мучает судьба моих товарищей — матросов. Чего от них хотят? Где они? Узнай.

О матросах сестра знала только то, что они все еще в Севастополе и что к ним допущены для защиты двое адвокатов, приехавших из Петербурга от совета присяжных поверенных. Совет предложил защиту и брату.

Ей хотелось сказать еще о многом, что она узнала из газет, но она молчала, ловя на себе настороженный взгляд ротмистра Полянского. Хотелось ей сказать, что забастовка продолжается, в городах не утихли волнения, в Одессе взбунтовались части гарнизона, в Москве восстали рабочие. Но сказала только об адвокатах. При этом боялась, что брат от них откажется. Но, к счастью, он не только не отказался, но даже как будто обрадовался.

— Я сперва хотел защищаться сам,— сказал Шмидт,— но теперь раздумал. На скамье подсудимых будут сидеть со мной матросы. Защищая меня, адвокаты будут защищать и их. Зачем же я буду лишать матросов такой сильной поддержки? Пусть выступает защита. Но я не надеюсь на успех. В нашей стране честнейшие стремления лучших людей оставались бесплодными перед безжалостной тупостью военного суда.

— Па-апрушу! — возвысил голос Полянский. — Па-апрушу не касаться политики.

Узник, точно не замечая его, продолжал:

— Судьями нашими будут наши враги. Я счастлив, что исполнил свой долг. И, может быть, прожил недаром. Все-таки удалось поднять красный флаг на кораблях! Да! Ну, расскажи теперь о себе. Как семья? Что Коля? С кем оставила маленьких, Маку и Лялю?

Он склонил голову на колени сестры, как часто бывало тогда, в детстве, и притих, и ей хотелось

долго гладить его лицо, как тогда, когда она чувствовала себя старшей.

Вспомнив о письме, отправленном сегодня утром в Киев, он рассказал о встрече летом в вагоне.

— Я ее почти не знаю,— проговорил он,— видел только раз... И если бы снова встретил, может, и не узнал бы. Мы переписывались полгода. Это не была игра. Мы не дети. Что же с ней? Почему она молчит? Ведь из газет ей известно, что ожидает меня и может произойти каждый день. После восстания прошло уже полтора месяца. Может быть, заболела? Я писал ей отсюда. Почему же ее нет? Аня, милая, поезжай в Киев, найди ее, привези сюда...

— Хорошо! — решительно проговорила сестра.

Улучив мгновение, она быстро, незаметно для ротмистра, взяла из рук брата несколько писем, написанных им в последние дни, и спрятала в муфте. И сейчас только вспомнила она о чемодане, который привезла для племянника, освобождавшегося из заключения. Солдат принес чемодан. Она достала оттуда новенькую форменную одежду ученика реального училища.

— Спасибо, тетя Аня,— проговорил он, видимо, тронутый, и в то же время со смешанным чувством, в котором было разочарование, поглядел на курточку с желтыми блестящими пуговицами, фуражку с гербом: все это ушло куда-то в прошлое и стало ему совсем чуждо.

Сбросив с себя арестантский халат, он переоделся.

Солдат распахнул дверь.

Отец тоже повернулся к двери, к мелькнувшей за нею слабой полоске света. Взгляд его, устремленный к этому просвету, уходил туда, за каменную стену, в далекую и шумную жизнь, и боль от того, что он

никогда не опутит ее, и радость за сына запечатлелась в этом прощальном взгляде. Молча обнял узник сестру и сына и потом еще продолжал глядеть им вслед.

— И еще узнай, Аня,— проговорил он, когда сестра медленно пошла к выходу вслед за племянником,— и еще узнай о моих товарищах — матросах, где они?

Глава третья

Горькая любовь

1

Зинаиду Ивановну Анна Петровна не застала в Киеве. Квартира ее была пуста. «Они отбыли», как сообщил дворник, вчера утром в город Ромны, к родственникам на рождественские праздники. На всякий случай она оставила адрес. Анна Петровна телеграфировала ей в Ромны: «Прошу немедленно приехать в Киев» — и сообщила свой адрес.

Через три дня, под Новый год, в номере гостиницы, где остановилась Анна Петровна, раздался громкий стук в дверь. В коридоре стояла молодая, стройная, слегка располневшая женщина в шапочке на черных волосах, завязанных тугим узлом на затылке. Она покраснела и спросила:

— Госпожа Избаш?

Анна Петровна протянула женщине письмо и проговорила тоже немного растерянно:

— Брат очень хочет вас видеть. Вы поедете к нему. Со мной.

— Это... в очаковскую крепость?

— Да.

— Ну, конечно, поедем. Вот я отвезу ему...

Она раскрыла кожаную сумку, которую держала в руке и достала оттуда два томика Лассалья, переплетенные ею, и Евангелие, лежавшее в сумке рядом с письмом из Очакова.

Вечером женщины выехали через Одессу в Очаков.

Очень мучительным было для Анны Петровны новогоднее веселье на улицах, которое раньше она так любила.

Ее спутница напряженно молчала, озабоченная предстоящей встречей.

Ровное спокойное течение ее жизни нарушилось с того недавнего времени, когда она разошлась с мужем. Рассталась она с ним без сожаления, потому что уже давно не любила его, но все же семейная жизнь ее была разбита.

Ничего не сказала ей и встреча в вагоне с лейтенантом. Моряк этот был милый, вежливый, скромный, но лишь после его письма она заинтересовалась им, захотела узнать его ближе.

Перед тем как сесть на пароход «Михаил», отплывавший из Одессы в Николаев, она купила большую корзину гиацинтов. Цветы цвели в январе, и всю дорогу ЗИР вдыхала одуряющий их запах. Грустные мысли ее сменялись гордыми: этот скромный и застенчивый офицер возглавил мятеж, и она ехала к нему, поверженному, и таким он был ей больше, чем когда-либо, дорог.

Участь его в эти недели была неизвестна. По одной версии, он был убит, по другой — бежал с корабля. Какой верить? Где он? Она написала в Севастополь городскому голове, потом редактору петер-

бургской газеты «Сын отечества», в которой он изредка печатал свои статьи, но не получила ответа, и когда совсем отчаялась что-либо узнать, однажды позвонили в дверь ее квартиры, и незнакомый железнодорожник протянул ей письмо. Она быстро разорвала конверт и прочитала на грубой серой оберточной бумаге строчки «Каземат очаковской крепости». Шмидт написал:

«Много прошло времени, целая вечность протекла для меня с тех пор, что я получил твое последнее письмо (милое, скорбно-радостное для меня письмо, потому что вся моя трепетавшая душа рвалась к тебе, а долг вел сюда, в этот мрачный каземат), и с этого далекого лучшего дня в моей жизни до сих пор я не имел о тебе ни малейшего известия. Наидочка моя, ты прости меня, моя голубка, нежно, безумно любимая, что я пишу тебе так, что говорю тебе «ты», но строгая предсмертная серьезность моего положения позволяет мне говорить тебе «ты», бросить все условности, кому-то и неизвестно для чего нужные при жизни и смешные, да и тяжелые, как лишняя обуза, в моем положении. Я писал тебе при всякой возможности, но письма эти, верно, не доходили, да и не нужно их, потому что в них было мало правды. Я слишком страдал неизвестностью, где ты, что думаешь, забыла ли меня или страдаешь; страдал сам и хотел успокоить тебя, а потому выходила сплошная ложь. Теперь же сел писать тебе, как писал раньше, писать всю правду, думать вместе с тобой, моя одинокая, милая и все по-прежнему недобрая, странная, не вполне понятная для меня подружка моя...

Буду думать в минуты казни о Жене и о тебе. За Женю спокоен, в нем примет участие Россия, а от посягательства моей супруги его спасет сестра. За тебя же неспокоен, за тебя страдаю. Знаю, что никто

не сумеет так глубоко и чисто любить тебя, как люблю я. Знаю, что никто не дал бы тебе такого достойного тебя «человеческого счастья», как я. Знаю, что ты будешь одинока. Много, много думаю о тебе и безумно хочу видеть тебя и посмотреть тебе в глаза, в душу...

Я недаром прожил, Зина, я тоже внес свою лепту в народное дело, я дал лишнюю волну протеста, осмыслил его своим руководством, хотя признавал его несвоевременность, но это не от меня зависело. В руках у меня оказалась стихийная сила, и я оказался не в силах сдержать ее..., моя обязанность была дать этой силе направление на пользу общему делу.

Сегодня кончаю письмо, устал, отвык писать много. Завтра буду писать опять. Зиночка, я сегодня просил жандармского офицера отправить тебе телеграмму... Может быть, он сделает это, тогда я получу от тебя завтра ответ, это будет великим счастьем для меня и настоящим святым рождественским подарком».

Это письмо взволновало Зинаиду Ивановну. Она поспешила в Ромны, чтобы немного рассеяться, но в разгар праздничного шума получила телеграмму, подписанную незнакомой фамилией «Избаш». А потом Киев и решение ехать в Очаков.

И теперь на пароходе «Михаил», одинокая среди незнакомых пассажиров, одна, без спутницы, уехавшей в Севастополь, она глядела на свинцовое змнее море с качающимися льдинами, озиралась вокруг, ни с кем не заговаривая. Время тянулось медленно. Пассажиры на палубе вдруг оживились, перешли на левый борт.

— Остров морской батареи!

Пока пароход, замедляя ход, огибал остров, на горизонте из легкого серебряного тумана проступили

очертания построек, караульные будки. Пароход повернул к берегу Очакова, и остров исчез. Подошла лодка с двумя солдатами и жандармами, и через полчаса Зинаида Ивановна была уже в Очакове.

Она с недоумением разглядывала из извозничьей пролетки сонные пустынные, усыпанные неглубоким снегом улицы. Пролетка остановилась у единственной в городе гостиницы «Семейные номера». Зинаида Ивановна поднялась по деревянной скрипучей с облезлой краской лестнице и наткнулась на хозяина Таковенко. Он с изумлением оглядывал даму, одетую по моде, в светло-зеленой ротонде и шляпе с перышками.

— Дозвольте паспорт для прописки! — вежливо проговорил он. — Надолго изволили приехать? Погостить или по делу?

— Не можете ли сказать, где живет жандармский ротмистр Полянский?

— К ним-с? Родственницей будете? — полюбопытствовал хозяин.

— Мне нужно видеть его по делу лейтенанта Шмидта.

Зинаида Ивановна брезгливо оглядела железную кровать, накрытую серым одеялом, два хромых стула, некрашенный столик и табурет с желтым умывальным тазом.

Умывшись, женщина переделалась. Захватив с собою Евангелие в подарок Шмидту, она поехала к ротмистру Полянскому.

— Меня направила к вам госпожа Избаш, сестра лейтенанта Шмидта, — проговорила Зинаида Ивановна, входя в кабинет к Полянскому. — Она сказала мне, что вы можете помочь мне встретиться с ее братом. Могу надеяться?

— Рад бы, сударыня, оказать вам содействие, но

решительно ничего не могу сделать,— проговорил ротмистр.— Госпожа Избаш действительно говорила о вас. Мне известно и то, что свидание разрешено вам прокурором. Но требуется еще и разрешение коменданта крепости. Я лицо подчиненное. Поезжайте, сударыня, к господину коменданту.

— А вы часто видите лейтенанта? — спросила Зинаида Ивановна.

— Почти ежедневно. Он здоров. Чувствует себя бодро. Спрашивал о вас. Но о том, что вы приехали, пока не скажу ему. Не следует причинять ему лишних волнений.

От последних слов воздух в кабинете, казалось, потеплел. Зинаида Ивановна посмотрела на жандармского ротмистра внимательнее.

— Странно... — сказала она.

И подъезжая к дому коменданта очаковской крепости генерала Григорьева, она не ощущала уже робости и даже улыбнулась коменданту.

Генерал сидел за огромным письменным столом, в серой тужурке с красными отворотами, и на вошедшую взглянул сквозь пенсне, смягчавшее жесткое выражение его лица. Небрежным жестом он указал на стул.

— Ваше превосходительство! Я к вам с огромной просьбой... — воскликнула вошедшая, но вдруг запнулась, почувствовала себя очень маленькой и беспомощной перед генералом в его огромном кабинете.

— Тэ-э-экс! Слыхал о вас. Знаю, что военноморской прокурор по просьбе госпожи Избаш разрешил вам свидание. Но у меня нет телеграммы от прокурора. Свидание пока разрешить не могу. Мне известно, сударыня, что между вами была переписка. Удивительно. Вы когда-нибудь видели этого преступника?

— Один раз.

— Только один? Нехорошо. Государственный преступник! Мой вам совет — возвращайтесь домой. Вы так молоды. Вам еще жить да жить. А ему...— Он махнул рукой.

С каждым словом комендант повышал голос. Куда девалось его вежливое спокойствие?

— Вы слишком суровы к нему, ваше превосходительство,— проговорила Зинаида Ивановна.— Разрешите передать ему Евангелие?

— Что-о? — недоуменно спросил Григорьев, и, взяв Евангелие, быстро перелистал протянутую ему книгу в толстом переплете с золотым крестом.— Священное писание? Это можно. Но здесь много подчеркнутых карандашом мест. Сотрите. Тогда передадим.

— Еще одна просьба: разрешите передать ему цветы.

— Какие?

— Гиацинты.

— С землей и корнями?

— Я могу срезать.

— Не могу. На каком основании? Что за приветствия с цветами? Не позволю. Ни с корнями, ни без корней.

— Почему же нельзя скрасить последние дни, если он действительно обречен?

— Нет, не разрешу. А свидание разрешу, когда получу телеграмму.

С тем Зинаида Ивановна и ушла.

В гостиничном номере она застала девушку-служанку. При появлении жилицы та быстро ушла и вернулась с кипящим самоваром. Подойдя к окну, постучала пальцем по стеклу и сказала:

— Ось, бачьте. У маяка сидит ваш охвицер.

«Завтра утром ты войдешь ко мне, чтобы соединить свою жизнь с моею, и будешь так идти со мною, пока я живу. Мы почти не виделись с тобой никогда... Духовная связь, соединившая нас на расстоянии, дала нам много счастья и много горя, но единение наше крепло... и мы дошли до полного, почти неведомого людям духовного слияния в единую жизнь».

Такую записку из каземата, переданную через ротмистра, получила на следующий день Зинаида Ивановна.

Утром у гостиницы «Семейные номера» ее ждала пролетка с поднятым верхом. Две фигуры, сидевшие на облучке, закутанные в шинели, зашевелились, когда Зинаида Ивановна села в пролетку. Лошади мгновенно помчали ее к пристани. Громко застучали колеса по мерзлой земле. Из пролетки путники, среди которых был и Полянский, пересели в катер. Ротмистр, предложив женщине войти в каюту, обратился к ней с той же светской вежливостью, с какой встретил ее в первый раз в своем кабинете:

— Извините, сударыня, но прошу вас показать, что находится в вашей сумочке и в карманах, если они имеются.

Она вывернула карманы и показала сумочку, в которой был только надушенный носовой платочек.

Катер прошел за ледоколом, крошившим лед: за ночь льдины в заливе смерзлись. Было холодно и сыро. За маяком промелькнуло каменное здание с двумя решетчатыми окнами на углу, с открытой форточкой в одном из них. Снег под окном лежал почти розовый, нетронутый. В каземате часовые бродили по коридору взад-вперед, спокойные и безразличные.

180 Перед ротмистром они вытянулись, проводили его

взглядами до двери, и когда в эту дверь вместе с жандармами вошла ЗИР, встреча получилась совсем не такой, какой она ее себе представляла.

Небритый человек в арестантском халате, с каштановыми волосами и голубоглазый, с лицом бледным до желтизны, подошел к ней, протянул две руки и проговорил:

— Думала ли ты, что сорок минут знакомства приведут тебя сюда?

В вагоне он был совсем другой, хотя и тогда не успела она хорошо его разглядеть.

— Прости, что я говорю «ты», — продолжал он, — сейчас можно отбросить всякую условность. Всякую фальшь...

В словах этих, однако, прозвучала нерешительность.

— Почему вы не садитесь? — спросил он, заметавшись, обращаясь не только к женщине, но и к жандармам. — Плохо я принимаю вас.

Жандармы сели у двери на табуреты. Женщина прошла с узником в глубь камеры, к небольшому столу. Разговор не получался. Женщина разглядывала мрачный и низкий каземат, служивший когда-то карантинном во время чумы, две железные койки, одна из которых пустовала. На столе лежал неразрезанный хлеб и стояла тарелка с нетронутым жидким супом. Переведя взгляд на узника, женщина хотела сказать ему, что после поездки чувствует себя нездоровой, но ничего не сказала и только многозначительно указала на Полянского.

— Как ты приехала сюда? — спросил ее Шмидт. — Куда я привел тебя? Ротмистру, вероятно, дико слушать наш разговор, — продолжал он, тоже указывая глазами на Полянского, — он ведь ничего не знает...

— Приблизительно знаю ваши отношения,— откликнулся ротмистр.

«Отношения,— подумала с удивлением ЗИР.— Какие же это отношения? Вторая встреча в жизни...»

Шмидт заговорил о своей сестре.

— Где она? — спросил он.— Как вы встретились? Бедняжка бросила семью. Меня спасает, а сама...

— Вы подали прошение о защите? — спросила она.

— Нет. Еще не вручен обвинительный акт!

— Вам обязательно надо хорошего защитника.

— Обязательно.

Разговор опять оборвался. С берега донесся свист катера, возвещавший о конце свидания. Шмидт забеспокоился, схватил теплый оренбургский платок, который оставила ему сестра, набросил на плечи ЗИР и взволнованно заговорил:

— Укутайся теплее, пожалуйста, прошу тебя. Холодно. Не простудись.

После этого почти каждый день приезжала она к нему на катере, где знали ее уже и жандармы, и седой старик-вахмистр, встречавший ее приветливо, и другой, строгий вахмистр, сопровождавший ее тогда, когда ротмистр был занят. Свидания продолжались не больше двадцати минут.

Однажды, улучив минутку, когда жандармы не глядели на нее в упор, она развязала свой широкий пояс, скрытый оборками платья, достала оттуда газетные вырезки и быстро, незаметно вручила ему. Газеты, сочувственно сообщавшие о его очаковском пленении, обрадовали его.

Сочинения Лассалья в красном переплете ЗИР сама привезла в каземат, и у Шмидта были теперь и Лассаль, и Евангелие. Он смотрел на эти книги, думая, что и облик молодой румяной женщины двоился

в его сознании, точно приходила к нему она не одна, а рядом с нею и другая, не похожая на первую. Одна была простая и ласковая, другая, которая принесла Евангелие, как принято носить Евангелие арестантам, была чужая и непонятная.

Он так радовался каждому ее посещению! Но все слова, которые он собирался высказать ей, выстраданные, идущие из глубины души, куда-то мгновенно терялись в ее присутствии. Не было слов. И он только смущенно глядел на ее розовое лицо, полное жизни, на ее ярко-алые губы. Глаза ее были веселые, голос звонкий. Удивляла ее доверчивость к жандармскому ротмистру. Она перестала соблюдать осторожность.

Перелистывая Лассалья, он часто останавливался взглядом на первой странице, где ее рукой было написано: «Дорогому П. П. Шмидту. Но из песен одна в память врезалась мне, это песня рабочей артели. Зинаида».

Получив книгу, он написал на странице, ниже ее надписи: «Когда я посылая тебе эту книгу, то в то время я уже любил тебя, но не знал, имею ли право на любовь твою, потому что не знал, как поступлю я, когда от меня потребуют дела, а не слов. Я тогда был свободен. Ты мне прислала эту книгу в каземат. Ты сама принесла мне ее сюда и ты осталась навсегда около меня. Я теперь знаю, что имею право на любовь твою. Ты чиста и прекрасна, а потому только страданиями за других можно стать достойным любви твоей. Это сознание даст мне силы перенести твердо и стойко все до конца. Возьми мою жизнь. Твой Петя».

Неосторожность ее была опасной, и однажды он сунул ей в ладонь письмо, которое озаглавил: «Деловая записка». В письме были перечислены двенадцать

обязательных пунктов поведения, среди которых значились такие:

«Помни, что все жандармы — всегда жандармы, и не доверяйся никому, что бы они тебе ни говорили...

У лавок поставлены два жандарма специально следить за тем, кто входит и выходит из гостиницы, где ты живешь.

Хозяин и хозяйка гостиницы находятся у жандармского ротмистра в руках и обязаны ему доносить обо всех входящих к тебе в номер.

Если явится кто-либо с заявлением словесным, что он от меня, требуй записки от меня, если записки нет, то не доверяй...

Лучше всего, если что-нибудь нужно сказать, то пиши на записочках и передавай при свидании мне, я очень ловок, но при ротмистре никогда не шепчи мне ничего тихо.

Никогда не приходи с переполненным ридикюлем. Нужно, чтобы в сумочке был только носовой платок, тогда есть предлог лазить в сумочку и легко опускать, если нужно, записки, но к этому надо прибегать действительно только в тех случаях, когда нельзя передать письмо через ротмистра. Вообще же не смотри на них как на людей... Они, кажется, вообразили, что ты приехала организовать мой побег. Какие они все идиоты!.. Эту записку сожги. Твой Петя».

Глава четвертая

Дорогое имя

1

В Севастополе Анна Петровна, приехавшая туда для встречи с адвокатом, получила письмо от брата.

«Ася, милая, не горюй... — писал он, — ведь ты на себя не похожа стала, исхудала, несчастная, исстрадавалась вся... Сколько погибло самоотверженных жизней, незаметно, героически павших!.. Моя же смерть принесет плоды, и в этом нахожу примирение, спокойствие и стойкость. Меня гнетет мысль о матросах, их замучат до суда в плавучих тюрьмах. Надо спасать их всеми средствами из рук зверского морского ведомства. Надо писать об этом, говорить на митингах, выносить резолюции, требовать человеческого отношения... Забота и боль за них не покидает меня».

«Не меня судить они будут, — продолжал он. — Россию судить со мной хотят военно-морским судом. Великую тяжелую народную борьбу за право на жизнь хотят оценивать статьями свода военно-морских законов! Где же здравый смысл во всем этом? Если они пошли открытой войной на русский народ, то зачем же суд? К чему эта комедия?..»

В приписке брат попросил посетить флигель на Соборной, чтобы снять там мерку со старого штатского костюма, для того чтобы по ней заказать новый, в котором он решил быть на суде.

В квартире брата Анна Петровна увидела Доминику.

Та, звеня ключами, вытаскивала из шкапа какой-

то военный сюртук, отталкивая от себя Федора, вцепившегося судорожно в этот сюртук.

— Отцепись, холуй! — кричала она денщику. — К барину своему иди. От самого градоначальника имеется у меня разрешение забрать вещи. А ты здесь кто такой? Отцепись, говорю по-хорошему.

Увидев Анну Петровну, она от удивления широко раскрыла глаза. Лицо ее стало багровым, и она заорала хриплым голосом:

— А-а-а, мадам! Зачем пожаловали? У меня от самого градоначальника Рогули... А вы? Что? А-а...

Молчание Анны Петровны еще больше ее разожгло.

— Все на меня! — продолжала она. — Всю жизнь я страдала с этим нищим. Других спасал, а у самого лишних штанов нет... Хорош братец, но хороша и сестричка. Здесь все мое, нажитое.

Анна Петровна продолжала молчать.

Лишь незадолго до своего заточения брат освободился от Доминики, и вот снова она здесь, раскрыла шкапы, сундук, ящики письменного стола, сорвала со стены фотографии, большой мамин портрет, не было на стене уже и картины «Осень», любимой братом. Не было и виолончели в углу. Разгром всюду. Доминика, видимо, торопилась. Шляпка ее сбилась на затылок, и это придавало ее лицу смешное и жалкое выражение. Все, что попадало ей под руку, она швыряла в раскрытый чемодан.

— Где портрет? — спросила Анна Петровна.

— А вам зачем?

— Вон! — выкрикнула Анна Петровна.

На крик прибежала из соседнего дома тетка. Взгляд ее, брошенный на Доминику, был спокойным и, как показалось, сочувственным. Видимо, о визите бывшей жены своего племянника она уже знала.

Осуждение Шмидта, даже ненависть к нему сблизили этих двух далеких друг от друга женщин.

Торопливо сняв сантиметром мерку со штатского костюма Пети, Анна Петровна выбежала из флигеля. Спустилась вниз по каменной лестнице. Пошла по Екатерининской улице. Вошла в первую попавшуюся портновскую мастерскую, над которой висела вывеска с намалеванными фигурами двух мужчин, стройных, как могут быть только манекены, одетых в мундир и костюм, и с надписью «Прием заказов партикулярного штатского и военного платья из собственного материала господ заказчиков».

Портной из подвала, куда вбежала Анна Петровна, медленно оторвался от пиджака, прошитого белыми нитками, которые назывались на портновском языке фарстригами, и, увидев хорошо одетую даму, удивился, потому что был он не дамским, а мужским портным. Нитки, как седина, белели в темно-русых его волосах и в небольшой бороде, оттенявшей бледное утомленное лицо с близорукими глазами за очками. Снимая с себя нитки, он выпрямился и спросил удивленно:

— Вы ко мне, мадам?

— Да,— проговорила Анна Петровна, протягивая бумажку с записанным размером костюма.— Вот, шейте по этой мерке костюм для лейтенанта Шмидта.

— Для лейтенанта Шмидта?

Портной засуетился, зашагал по тесному подвалу, от стены к стене и, взлохмачивая дрожащей рукой усы, все бормотал:

— Боже мой, боже мой...

Из шкапа он выхватил рулон, развернул его и, поглаживая ладонью темно-синее сукно, проговорил с дрожью в голосе:

— Предложу я вам этот замеча-ательный материал.

— И прошу вас: шейте поскорее. Брат будет в этом костюме на суде. Назовите цену.

Услышав последние слова, портной снова спросил, но уже с обидой:

— Цену? Для лейтенанта Шмидта? — Отмерив деревянным аршином сукно и взяв в руки большие закройные ножницы, он продолжал: — Цену? Не надо меня обижать, мадам. Это мне большая честь для него шить. Большая честь в несчастной моей жизни. Боже мой, боже мой...

Он зачертил по сукну голубым мелом, выделявая им зигзаги, круги, квадраты, и, близоруко вглядываясь в закрой, крикнул за шкапы, в тесноту убогого своего жилища, где жили дети и жена:

— Идите сюда!

И когда дети и худая молодая женщина, жена портного, вбежали в «приемную», занятую почти всю стойками, спросил их торжественно и таинственно:

— Знаете, для кого этот заказ? Для лейтенанта Шмидта!

В портновском подвале, после того как был сшит темно-синий костюм, произошло удивительное событие.

На этой же улице жили трое портных с одинаковой фамилией, они враждовали между собой из-за заказчиков, путавших их адреса, поносили друг друга, никогда друг с другом не разговаривали и, встречаясь, отводили глаза. Это была вражда из-за куска хлеба для своих детей — самая непримиримая вражда. И вот к одному бедняку пришли двое других, сами удивленные неожиданным своим поступком.

188 Они молча пожали руку третьему.

— Большое вам спасибо,— сказал один из пришедших хозяину.— Вы сшили костюм для такого человека. И не взяли денег... Знаете что? Мы каждый сделали бы то же.

— Боже мой, боже мой! — проговорил портной, понявший, почему они помирились.— Он наша надежда. Мы должны на него молиться. Чего он хотел? Вывести меня из подвала. Дать счастье несчастным. Ой, люди, мы живем очень плохо. Мы еще даже не живем. Он это знает... Какой же я счастливый, что сделал для него хоть что-нибудь, и какие мы несчастные от того, что он сидит в крепости... Боже мой, боже мой!

2

В конце января во двор главного командира флота, в час адмиральского приема, пришла совсем молодая девушка, одетая в длинное и широкое меховое манто, в котором она казалась несколько даже старше своих лет.

Дежурный адъютант, увидев ее, слегка поклонился.

— Я жена лейтенанта Крупицкого, Мария Васильевна, мой муж убит на войне,— проговорила посетительница.— У меня прошение к вице-адмиралу.

— Извольте! — с готовностью воскликнул адъютант.— Войдите, прошу вас.

Адъютант пропустил ее наверх, на второй этаж, в приемную, находившуюся в большом синем зале. Там навстречу ей вышли второй адъютант и дежурный офицер.

— К его превосходительству! — проговорила Мария Васильевна, указывая на прошение, свернутое в ее руке рубочкой.

К кабинету вице-адмирала она пошла вслед за дежурным офицером легким спокойным шагом.

Чухнин поднялся над столом, широко улыбнулся молодой женщине, усадил ее в кресло и начал читать протянутое ему прошение.

Мария Васильевна в этот момент быстро извлекла из-под манти маленький никелированный браунинг и выстрелила три раза подряд в Чухнина, крикнув после этого:

— За лейтенанта Шмидта!

Две пули из трех попали в вице-адмирала. Третья пролетела мимо. Раненный в руку и плечо, Чухнин упал на ковер. Ни одна из ран не оказалась смертельной. Дежурный офицер и адъютант, прибежавшие из приемной, подняли его и уложили на диван.

Девушка отбежала в сторону, к окну, и остановилась за портьерой. На выстрелы примчались офицеры.

Катенька Измайлович, назвавшаяся Марией Васильевной и женой никогда не существовавшего мужа, Катенька, которой центральная боевая организация эсеров поручила убить Чухнина, никогда не была замужем. Ей было восемнадцать лет.

С каким-то странным спокойствием, точно это была не она, глядела она на двух женщин, прибежавших с нижнего этажа, на жену и дочь вице-адмирала.

— Убит! — закричали они в один голос.

— Нет, не убит, — с горьким сожалением сказала Катя, — жив...

Получилось не так, как предполагала она, совсем не так. Когда кто-то очень больно начал связывать ей руки за спиной, она так же спокойно добавила:

— Не я, так другие убьют.

— Взять ее! — как бы издали донесся до нее женский визг. — Расстрелять. Сейчас. На месте.

Произошло нечто чудовищно-небывалое даже в последние дни безнаказанных расправ над революционерами. Крик женщины, не имевшей права приказывать, был понят как приказ. Вестовой вывел Катю из дворца в сад и привязал ее к дереву.

Отойдя от дерева, он выстрелил из винтовки в упор, и в тот же миг Катенька умерла.

Чухнин, оправившийся после ранения, стал выезжать лишь окруженный отрядом конных ингушей. На козлах и запятках ездил с ним два вооруженных унтер-офицера, которых вице-адмирал лично выбрал из двадцать второго экипажа.

Главный командир флота, идя по дворцовым комнатам, озирался у каждой двери. Всюду чудилась ему опасность. Ему все казалось, что где-то там бродит какая-то девушка и вот-вот сверкнет в ее руках револьвер. Прием посетителей был совсем прекращен. В кабинете и за дверями всегда дежурили адъютанты.

— «За лейтенанта Шмидта!»

Неужели никогда не уйти ему от этого мятежника, мстящего ему и из каземата?

Он приказал усилить охрану острова морской батареей и запретил свидания со Шмидтом.

Но это не могло его успокоить. Особенно он боялся выездов в город. Вызывая катер или карету, он вдруг решал не ехать, когда ему сообщали, что катер или карета поданы, а через четверть часа вторично приказывал выслать катер или карету и чувствовал себя уже увереннее: ему казалось, что он обманул преследователей.

Страх гнал его из города на Северную сторону, на дачу «Голландия». Он бродил там по маленьким комнатам с низкими потолками, выходил на крыльцо, не решаясь сойти с него, разговаривал с охранни-

ками, а потом, оставаясь один в надежном укрытии, грозил кулаком тем, невидимым, но идущим за ним следом, как тень, и кричал в тишине пустого дома:

— Вот же вам! Я жив! Жив! Что, взяли? Жив!

На корабле «Прут», превращенном в плавучую тюрьму, он ввел режим, невыносимый не только для узников, но и для стражи. Оставлены были в команде лишь самые «проверенные», то есть самые неграмотные и тупые матросы. В качестве же тюремной стражи на борт привезли солдат; непривычные к качке, они болели, и когда разведет волну, перевершивались через борт, беспомощно ползали по палубе, не выпуская винтовок из закованных на морозном ветру рук, проклиная заключенных, как виновников своих бед. Они стонали, мычали, молились, кричали. Их голоса доносились порой в трюм, и оттуда отвечали арестанты-моряки.

— А, сукины дети! Узнаете теперь море!

Команда плавучей тюрьмы, слушая эту перебранку, не принимала в ней участия. Матросы мыли швабрами палубу, загаженную солдатами, бранили их и думали о встречах с портовыми девками, следили, как бы ветер не сорвал с головы бескозырку, потому что позорно было оставаться на палубе без головного убора и можно было получить кличку «корабельной бабы». Больше они не думали ни о чем.

Некоторых узников, особенно досаждавших караульным, сажали в «фонарные ящики», в карцеры, куда не долетал ни один звук и где не слышно было даже шагов часовых.

Думбадзе много раз просил Чухнина заменить часовых, болевших морской болезнью, матросами, но адмирал не соглашался.

— Нет,— говорил он,— очаковцев могут караулить только ваши солдаты, преданные царю и отечеству.

Из тюрьма перевели в какое-то другое помещение п Частника. Следственной комиссии он показался особенно опасным из-за того, что социальные идеи проповедовал по Евангелию.

Частник не совсем еще остыл к своей вере в Христа, которого считал не сыном божьим, а народным учителем, вечным образцом для современных учителей, каким хотел стать до призыва во флот и он, Частник. Из всех вековых преданий о Христе Частник оставил себе только его моральное учение, которое, как думал Частник, провозгласил действительно существовавший величайший из людей человек.

Давно уже не спрашивал себя Частник: «Что есть истина?» — потому что истину познавал он сам тяжелой своей жизнью и в родной таврической деревне Чалбасы, и на флотской службе, и сейчас, в плавучей тюрьме. Еще больше уверовал он в правду, открывшуюся ему давно, и еще больше ожесточился против тех, кто попирали людей ради своего благополучия. К таким он считал справедливым относиться беспощадно. Но все же он не смог, когда это надо было, поступить покруче с заложниками, и за эту свою слабость к палачам, не ведающим жалости, за это пагубное милосердие к ним он казнил себя сейчас. За непротivление врагу порицал он сейчас себя и восставал даже против своего учителя Христа. Разве можно быть милосердным к зверю, терзающему твоих ближних?

«А что, если бы я остался в живых? — спрашивал себя Частник.— Не жалел бы я врагов!» — отвечал он себе.

И думал он о том, что те, которые придут после него, будут действовать именно так, беспощадно и смело, не оставят от старого камня на камне. И от того, что придут те, другие, придет новое поколение, которое быстро пройдет по его следу и выйдет на лучшую дорогу, он знал, что прожил свою жизнь не даром.

Однажды он очень удивился, увидев в своем «фонарном ящике» Антоненко.

— Ты? — спросил он недоуменно, взглядываясь в тьму. — Как попал сюда?

— Ось слушайте! — прошептал Антоненко и рассказал, что в поисках друга он осмотрел, измерил и пересчитал в трюме все обшивки, болты, заклепки и остановился наконец на отверстии в большом вентиляторе, но долго не решался лезть по этой вертикальной скользкой трубе, боясь попасться часовому на штык или сорваться в яму. Он рассчитал, что труба ведет прямо в «ящик» под трюмом, где, вернее всего, находится Частник. Три товарища, среди которых был и Карнаухов-Краухов, стали перед вентилятором пирамидой. Антоненко влез по их плечам до отверстия вентилятора и спустился прямо к Частнику.

— Вот оно как! — весело сказал Сергей Петрович, выслушав Антоненко.

— А ты? — спросил он вдруг. — Ты почему такой невеселый?

— По сынам жалкую. Как они там без меня? Чует мое сердце, что не видаться нам больше.

— Вырастут твои сыны, продолжат наше дело. Не мы, так они будут свободны.

— Вот! — воскликнул Антоненко, доставая из-за пазухи какой-то туго свернутый в пожелтевшую бу-

Он зажег спичку. Частник увидел неясные фотографии двух хлопцев.

— Ось яки парубки!

— Красавцы.

— На каторгу пошов бы на всю жизнь, абы для сынов было б лучше. Да, видать, не та доля...

Через час комендор ушел от баталера тем же путем, как и пришел,— через вентиляционную трубу.

А там, в трюме, Гладков, взяв в руки медный помойный таз, бил по нему палкой, как в литавры, и пел. Кто-то отбивал в тесноте между койками чечетку, и все говорили, смеялись, чтобы не сидеть уныло, ожидая своей участи.

Глава пятая

Плещут холодные волны

1

После уборки трюма арестанты, чтобы попросить десятиминутную прогулку, начали дружным криком вызывать начальство. Прибежал караульный начальник, прапорщик Брестского полка, но очаковцы, завидев его, засвистали, затопали, закричали: «Пошел вон, холуй!» — и потребовали командира или вахтенного офицера. Вместо них явился молодой мичман. Прапорщик остался наверху с караульной ротой наготове и тотчас же донес рапортом об арестантском бунте. Уходя, мичман сказал тюремным обитателям: «Ваш крик услышат на Нахимовском проспекте!» Эти слова

не прошли мимо матросских ушей. Решили ждать, когда придет командир «Прута».

Плавучая тюрьма, совершая рейс между Северной стороной и Приморским бульваром, повернулась по ветру, и левый борт оказался параллельным бульвару. Из иллюминатора можно было наблюдать за движением у Графской пристани. Арестанты не сводили глаз с пристани, чтобы не пропустить незамеченным вельбот, на котором должен был прибыть командир. Но над морем уже стемнело, а его все еще не было.

— Берешь ужин! — крикнул в люковую дырку матрос из команды.

Командира не было. Арестанты и на другой день готовились его встретить. Еще с самого раннего утра они почистили трюм, оглядели себя, умылись.

В три часа дня наблюдатель заметил, что к плавучей тюрьме приближается вельбот номер один. Из вельбота поднялся по трапу командир, капитан первого ранга, толстый человек с черными седеющими бакенбардами, как у Александра II.

Арестанты услышали шум, доносившийся с палубы. Потом сверху через люк, в который подавали еду, донесся лающий голос командира:

— Бунтуете, каторжные морды? Что вам нужно, бубновые тузы?

Двое уполномоченных, Антоненко и Карнаухов-Краухов, придвинулись к люку, чтобы изложить общую просьбу, но в этот момент оттуда донесся тот же хриплый голос:

— В карцер бунтовщиков!

Люк шумно захлопнулся, и все стихло. Слышно было лишь щелканье винтовочных затворов. Оборвался и замер топот шагов. Боцман наверху, отвинтив борт люка, приказал уполномоченным выйти на

палубу, предупредив, что, если они не выйдут, он открывает стрельбу по люку.

Антоненко и Карнаухова-Краухова поднялись наверх.

Боцман объявил им там, что они арестованы на четырнадцать суток каждый. Тотчас же их развели по разным карцерам. Антоненко привели куда-то на корму. Карнаухова-Краухова — на ют, около камбуза, в «фонарный ящик». Прошли они по палубе, шатаясь как пьяные от свежего морского воздуха.

В «ящике», где очутился Карнаухова-Краухова, не было никаких отверстий, кроме вентилятора под потолком и небольшого лаза, вырубленного в железном листе. Паровые трубы загромодили почти все помещение. Остро пахло там керосином, маслом, бензином, паклей и смолой. Карнаухова-Краухова, задыхавшийся в трюме от недостатка воздуха, едва не потерял сознание от едкой и резкой вони, как только вошел в «ящик». Вместо постели на железном полу лежал черный, клейкий, какой-то смолистый мат.

К вечеру вентилятор под потолком повернулся не по ветру, а рупором к камбузу, и матроса обдало вкусным кухонным запахом, от которого сильнее захотелось есть. Но у него была только железная кружка с водой и кусок черного хлеба, оставленные для него на полу.

В поздний час, когда команда наверху готовилась к вечерней проверке, он услышал шум в вентиляционной отдушине. Сверху что-то падало. Матрос увидел большой кусок жареного мяса и ломоть белого хлеба. Он жадно начал рвать зубами мясо, кусать свежий хрустящий хлеб, съедая все, чтобы не осталось ни одной крошки на случай проверки.

Наевшись, Карнаухова-Краухова вытянулся на своем грязном мате и уснул крепким сном. Проснулся

он от общей дудки. Дудка свистела так пронзительно, и голос боцмана был такой громкий, что в «ящик» вместе со свистом донеслось:

— Встава-а-ай! Койки в сетку выноси!

Утром все на палубе ожило. Дудки продолжали свистеть. Послышался звук воды, льющейся из шланга. Затопало множество ног. Долго гремели сопровождаемые виртуозной бранью боцманские команды:

— Выбери слабину! Подтрави конец! Голяком потри палубу! Давай сюда шлом! Швабры бери! Три палубы и переборки!

Хотелось курить. В кармане не было ни крошки табака. Арестант придумал, как добыть папиросы. Он постучал наверх часовому. Откликнулся караульный разводящий:

— Чего тебе?

— Вынеси парашу.

Застучал висячий замок. Приоткрылся лаз, вобравший парашу, и в это мгновение одиночный узник, увидев толпившихся вдали матросов из команды, показал знаками: курить хочу. Снова застучал замок. По крышке зашуршала швабра, промывавшая палубу, но завертелся и рупор вентилятора, и Карнаухов-Краухов услышал из отдушины: «Курево принимай!». Тотчас же увидел он брошенную в вентилятор пачку стамболиевских папирос «Браво» и спички. После первой же затяжки на душе матроса полетчало.

И так каждый день, до самого конца карцерного заточения, он находил и папиросы, и мясо, и хлеб. Курил он много, пока однажды неизвестный матрос не нагнул к дыре и не прошептал:

— Слышишь, браток, а?

— Слышу.

— Ты что, пары поднимаешь, а? В море собираешься? Дым валит, некуда деваться. Начальство заметит. Принимай еще пачку. Только потише кури. Будь здоров.

Однажды затворнику была брошена записка, которую с трудом удалось ему прочитать при свете, проникавшем сквозь маленькую замочную скважину:

«Если остались папиросы и окурки, приготовься к вечеру, брошу шпагат к тебе, и ты подай наверх, ничего не оставляй».

Потом снова услышал он в вентилятор голос, но уже не тот, а другой и увидел снова записку, написанную другим почерком, и понял, что сердобольным оказался не один матрос из команды, а многие. Разговаривали они с ним разными голосами, но душа у них была одна, живая матросская душа. И он шептал, припадая к вентилятору:

— Слышу вас, братья.

Перед выходом из карцера он получил еще одну записку: «Вечером получишь желтуху, но только не шуметь, когда выпьешь».

Незадолго до поверки в руке у него уже была бутылка водки и большая соленая рыба — кефаль. Выпив водки, он разбил бутылку на мелкие осколки и бросил их в парашу, чтобы замести следы. Стало веселей ему и от водки. В день освобождения, незадолго до того как должна была распахнуться дверь «ящика», он услышал наверху какой-то глухой продолжительный стук. Послышался крик. Потом снова упорный стук по борту. Порывистые вздрагивающие рывки машины. Рыкающий бас:

— Караул, в ружье!

Одно предположение у Карнаухова-Краухова быстро сменялось другим. Пожар? Отплытие? Расстрел без суда? Шум на палубе не прекращался. Машина

продолжала работать. Похоже было, что она выкачивала воду за борт. День был воскресный. Никакие работы не производились. Зажигать свет было рано. Что же случилось? По ритмичному, размеренно-глухому стуку машины можно было понять, что плавучая тюрьма не собирается уходить в плавание. Но почему же стук продолжался? Из недоуменного раздумья вывел матроса голос за дверью:

— Открывай!

Дверь распахнулась. Карнаухов-Краухов выбежал на палубу. Остановился, закрывая лицо руками, ослепленный ярким морозным солнечным блеском, хлынувшим в январе с прозрачного неба. Солнечное тепло ползло по лицу узника, заросшему бородой, по волосам, по рукам. Он стоял так недолго, окруженный часовыми и офицерами. Он ловил на себе их пристальные взгляды, не зная, почему его окружили. Потом услышал возглас караульного начальника:

— Ведите его!

Кто-то подхватил его под руки, повел к раскрытому люку трюма и втокнул туда.

Остановившись в яме, Карнаухов-Краухов онемел.

Очаковцы были совершенно мокрые, как недавно, когда плавали в море, спасаясь от пожара на крейсере. Они шагали по тесной клетке, шлепая босыми ногами по воде, не успевавшей стекать в шпигаты. Койки, опрокинутые и сдвинутые в кучу, громоздились до потолка. По воде плыли тюфяки и одеяла.

Гладков выкручивал в углу нижнюю рубаху. Выкрутив, он вытер сухим рукавом мокрое лицо и пошел к кожуху парового отопления. Там стояли измученные, дрожащие от озноба, в прилипшей к телу одежде товарищи. Один из них, Антоненко, вышу-

щенный из карцера на два часа раньше, чем Карнаухов-Краухов, и тоже мокрый, гневно воскликнул:
— Каты проклятые!

Утром был здесь великий шум. Прогулок не удалось выпросить у командира. Поэтому очаковцы решили добиться их другим путем. Дождавшись, когда ветер повернул «плавучку» левой стороной к Приморскому бульвару, они открыли иллюминаторы и все вместе одновременно крикнули в иллюминаторы, чтобы услышали их там, на берегу: «Караул! Спасите! Нас душат в трюме!»

В тихий, безветренный день крики эти донеслись к Нахимовскому проспекту, где гуляла густая воскресная толпа. Но кто были эти люди? Среди них была «золотая молодежь», жившая на аристократической Чесменской улице, были молоденькие мичманы и их отцы — важные господа в котелках, совершавшие спокойный моцион от площади к часовне на Большой Морской. Никто из них не дрогнул, когда услышал крики, не пожалел, не ужаснулся. Никто из них не вспомнил даже о том, как эти вот очаковцы, рискуя собственной жизнью, посылали в день восстания патрули, чтобы сбересть горожан, которым угрожали бандитские, черносотенные шайки местных головорезов...

Карнаухову-Краухову стало понятно, почему вдруг заработала машина и почему по всем направлениям трюма тянулись пожарные трубы, из которых только что окатили ледяной водой арестантов, просивших, чтобы им разрешили прогулку. Трубы эти, оказалось, были проведены не только на случай пожара, но и для усмирения недовольных. После ледяной ванны, устроенной среди зимы, в трюме закрыли паровое отопление. В этот день не принесли ни обеда, ни вечернего чая.

Никто ночью не уснул. А утром стало известно, что весь трюм переведен на семь суток на карцерное положение, на черный хлеб и воду.

2

В начале февраля по распоряжению Чухнина на плавучую тюрьму прибыли две роты караульных солдат, и с палубы донеслись новые боцманские выкрики:

— Выбери! Убирай! Фасграбные, к трапу! Вельбот поднят!

Вскоре матросам стало известно, что увезут их в город Очаков, где будут судить военно-морским судом.

В тот день, когда пришло это известие, ветер несколько раз менял направление, и транспортное судно «Прут» — теперь плавучая тюрьма, прикованная к мертвым якорям, — вертелось, кружилось, стонало.

Трое очаковцев — Антоненко, Gladков и Частник — стояли в трюме, тесно прижавшись друг к другу, и говорили о Шмидте: будут ли судить их отдельно или с ним вместе?

Плавучая тюрьма — «стальной гроб», как называли ее матросы, — снялась с якорей около девяти часов вечера и тронулась вперед, медленно разбивая холодные волны. Что же там впереди, на очаковском берегу? Люди притихли, погруженные в свои думы.

У Частника никого не было, кроме старика-отца, оставшегося в родной деревне.

У Gladкова в родном городе Наровчате остались родители и младшие братья и сестры, маленькие, бес-

помощные, ждущие возвращения его с морской службы.

Антоненко тосковал по сыновьям.

Около двенадцати часов ночи над люком неожиданно вспыхнул электрический свет. Вошли неизвестные штатские люди. Один из них, высокий, в черном длинном пальто, сняв с головы мокрую каракулевую шапку-пирожок, проговорил:

— Мы ваши защитники. Приехали из Петербурга.

Нежданное это посещение оживило очаковцев: в далекой столице нашлись люди, обеспокоенные их судьбой. Каждый с полным доверием отвечал на вопросы защитников и спрашивал о судьбе Шмидта. И когда стало известно, что тот, сидя в очаковской крепости, принял всю вину за восстание на себя одного, матросы и в этом узнали своего лейтенанта.

Антоненко услышал от защитников об одной небезынтересной подробности: оказалось, что в его «деле» есть уличающие показания одного из матросов, Пантюхи Коровина.

Среди матросов попадались иногда такие, которых называли гальюнщиками, потому что были они так глупы и темны, что годились только на то, чтобы чистить гальюны. Пантюха был таким. С первого дня на корабле он проявил себя отчаянным трусом и лентяем. К тому же был наушником, стараясь выслужиться перед боцманами. Пантюха стал отверженным. Команда презирала его, и каждый мог над ним поглумиться. Он очень удивился, когда Антоненко однажды, когда спали они рядом в тридцать втором экипаже, пожалел его и защитил от нападков другого соседа. Сам Пантюха отверженность свою переносил легко — спокойно ел флотский борщ, а на берегу пил водку.

Но и этот Пантюха в числе других был арестован после восстания, его посадили в тридцать первый экипаж, рядом с Антоненко. И теперь вот стало известно, что Пантюха был арестован для провокации и на допросе рассказал военному следователю, что делал Антоненко на крейсере во время восстания, как он считал снаряды и говорил, что надо выпустить их по чухнинской эскадре. Это была тяжкая улика. Антоненко, когда ему об этом рассказал защитник, только и воскликнул: «Вот гадюка!».

Матрос Карнаухов-Краухов давно и хорошо знал лейтенанта. И сейчас он представлял его себе то грустным и утомленным, как в недавний осенний день, когда лейтенант вернулся с объезда кораблей, то возбужденным, даже радостным, как перед началом восстания, то сурово-сосредоточенным, как на палубе во время боя. О чем он думает сейчас?

В трюме, где тридцать семь человек сбиты в одну кучу, можно молчать, но можно и разговаривать, можно думать наедине с собою, но можно поделиться мыслями с товарищами. Шмидт там один, совсем один.

Припав к иллюминатору, Карнаухов-Краухов разглядывал медленно приближавшийся берег, морскую крепость. Глухой городишко раскинулся недалеко за крепостью, известковые пятна домишек нелепо белели среди каменных укреплений, и казалось, улочки-переулки спали вечным сном. На берегу у причалов стоял часовой. Женщина-рыбачка в тулупе, заметив корабль, редкий в этой морской тиши, трижды перекрестилась и ушла грузной мужской походкой.

К «плавучке» подошел катер с баржей. Заскрипели люки трюма.

Сошли на берег. Проходя по узкой тропе под усиленным конвоем, настороженно оглядываясь по сторонам, Карнаухов-Краухов ловил открытым ртом морозный воздух.

Город проснулся.

— Рас-сходись! Не ско-опляйсь! — слышались крики казаков, сопровождавших арестованных матросов.

Рыбаки, сбежавшиеся взглянуть на арестантов, прибывших большой партией, разбегались от нагаек. С любопытством разглядывали очаковцев и конвойные солдаты: за три дня до прибытия «плавучки» ротные командиры на поверках и фельдфебели на уроках «словесности» говорили им, что им предстоит сопровождать преступников, собиравшихся убить царя.

Перед крепостью, у самого берега, партия остановилась.

Карнаухов-Краухов успел разглядеть вблизи высокие укрепления, похожие на курганы. Казалось, они устоят и перед тяжелыми снарядами и даже перед землетрясением. А когда матрос очутился внутри укрепления, в длинных с полукруглыми сводами помещениях, напоминающих печи, в которых пекут хлеб, наскоро приспособленных для жилья, он понял, что к ним никогда не пробьется не только снаряд, но и чистый воздух, которого было здесь еще меньше, чем в «плавучке». К счастью, за арестантами замкнули дверь решетчатую, и она служила им окном, первую же, глухую стальную, оставили открытой, чтобы конвоирам было легче наблюдать.

Ночь прошла тревожно. Все думали, что надо ведь как-то приготовиться к суду, но никто не знал, что говорить: обвинительное заключение, врученное каждому, было таким запутанным и лживым, что и специалисты из Петербурга не могли во всем разобрать-

ся, и оно угрожало статьями, от которых даже эти опытные адвокаты пришли в ужас. Как спастись от подлости господ, призванных судить лишь для того, чтобы казнить?

К решетчатым дверям всю ночь подходили караульные солдаты. Некоторые из них тихо спрашивали матросов:

— Вы что за народ?

Матросы объяснили караульным, что они не преступники, а жертвы, погибающие ради других людей. Один из караульных, совсем молодой, чуть не заплакал и отошел от двора, чтобы справиться с волнением.

Рано утром завыла крепостная «ганга». И надо же было так придумать, чтобы этот сигнальный инструмент, похожий по звуку и на гудок, и на ронг, так жалобно, по-человечески, рыдал.

К Карнаухову-Краухову подошел Антоненко. Веки его припухли от слез. На лбу появилась глубокая складка.

— Чего ты?

Антоненко тихо ответил, что, пока будет биться его сердце, никто не сможет затоптать мечту о свободе, ради которой он готов был стрелять во врагов с корабля, и, пока жив, он не перестанет жалеть, что выпустил только шесть снарядов против всей чухнинской эскадры. Только и надежды, что придут другие, станут к орудиям и откроют губительный огонь по врагам.

— Ты прав, Антоненко, — присоединился к тихому разговору Частник, — не должны мы остывать к врагам русского народа, пока у нас душа живая. Что будет с нами, то будет. А душу свою не погубим. Мы не Пантюхи.

пяток. Некоторые не успели его допить. Фельдфебель выкрикнул за дверью зычным голосом:

— Арестованные, выходи! По четыре становись!

Фельдфебель был лихой служака, гордый тем, что ему поручили распорядиться важными преступниками.

— Конвой! Шашки наголо. Ка-ра-аул, на руку. Партия, ша-а-агом арш!

Опять, как вчера на пристани, матросы были окружены казачьей сотней и стражниками. Городишко, безлюдный и пустой, как вчера, опять быстро ожил. Длинная улица, по которой вели арестантскую партию, заполнилась любопытными. Горожане стояли на высоком крепостном валу и по обеим сторонам улицы. Было тесно на крышах, на балконах, на воротах, в окнах. Иногда из толпы раздавались выкрики:

— Ура, очаковцы!

Не боясь казацких нагаек, теснились к колонне девушки в высоких рыбацких сапогах, юноши в картузах и длинных городских пальто, старики с узловатыми палками в руках. И откуда взялись эти люди в крепостном захолустье? Женщины громко проклинали казаков.

Частник заметил, что и впереди шла толпа. Старухи в черных косынках широко и истово крестились, вглядываясь в лица матросов, среди которых, может быть, искали сыновей и внуков, также призванных на морскую службу. Поближе к пристани начали появляться моряки торгового флота и угрюмые рыбаки, которые оставляли свои сети и снасти на берегу и бежали глядеть на арестантов.

Ясно было, что конвой не в силах разогнать толпу и не осмелится сейчас применить насилие.

Частник громко запел «Марсельезу». По другую

сторону конвойной цепи в толпе подхватили пение. Запели и другие арестанты.

Из толпы посыпались цветы, ветки, зеленые листья, сорванные с комнатных растений. Через головы оцепления полетели конфеты, пряники, завернутые в бумажку деньги, и те, кто одаривал матросов, просили их также подарить что-нибудь на память. Арестанты начали срывать с себя на ходу погоньи с номерными знаками экипажа и ленты с бескозырок с надписью «Крейсер «Очаков»» и бросали жителям города Очакова.

Горожане тут же разрезали георгиевские ленточки на мелкие кусочки и прятали по карманам, и каждый спрашивал фамилию арестанта, запоминал ее, чтобы никогда не забыть.

— Пришли!

Партия остановилась у невысокого дома, в котором заседал военно-морской суд.

— Теперь, братцы, — сказал Частник, — встретимся с нашим лейтенантом.

Возглас этот пробежал по рядам арестованных, и потому, что предстояла после долгой разлуки встреча с лейтенантом, очаковцы оживились, выпрямились, уверенно посмотрели в толпу, шедшую только что за ними, живую, многоликую, пестроцветную от полушалков, платков, поддевок, и на конвойных, внезапно остановившихся у скрипучей, обшарпанной двери суда.

— Встретимся! — подхватили голоса, и с неизбывной силой каждому из рядов, как никогда раньше, захотелось движения, простора, ветра, потому что это имя, объединившее очаковцев, значило — жизнь! Но заперта, припечатана была сейчас жизнь конвоем, окружившим арестантов еще теснее, когда они подошли к двери.



И небо над городом также рвалось-вырывалось из тяжелых свинцовых туч, стремясь освободиться от них, чтобы сиять и сверкать солнечным ливнем. Гнулись под прибрежным ветром молодые деревца, посаженные вдоль улицы, порываясь ветвями, как руками, ввысь, в гордую, счастливую воздушную синеву, чтобы встать над ветром, над бурей.

Трое матросов, шедших рядом, впереди партии, переглянулись, и один из них, Антоненко, сказал другому, Гладкову:

— Ото ж! Пришли. Сейчас увидим его.

И он рванулся вперед, за дверь, где, казалось ему, стоял уже, поджидая арестантов, Петр Петрович, высокий, ласковый, с лучистыми глазами, с тихим и твердым голосом, умеющим внушать и радовать.

Часть четвертая

СУД ИДЕТ

Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины. Сознание это дает мне много силы, и я пойду к столбу, как на молитву...

*Из речи лейтенанта Шмидта
на суде*

Глава первая

Первый день

1

Анна Петровна увидела выскпе Амачты плавучей тюрьмы в тот момент, когда транспортное судно причаливало к очаковской крепости. Ей, приехавшей сюда также из Севастополя, непонятно было, почему такую большую партию арестантов и все судейские чины, собиравшиеся их судить, привезли в то место, где заточен в каземате только один человек. Не проще ли перевезти его в Севастополь и судить там?

Чухнин избрал местом судилища этот глухой городок, потому что он находился подальше от главного очага крамолы.

210 Анна Петровна приехала в день рождения брата и хотела встретиться с ним немедленно. Но свидание

не было разрешено ни комендантом, ни военным прокурором, ни председателем суда полковником Александровым.

У председателя было деревянное лицо, и пока Анна Петровна выпрашивала у него встречу с братом, он глядел на нее прямо, точно слепец.

Только когда прокурор Ронжин наконец согласился, председатель слегка кивнул головой.

Ронжин дал разрешение и сам тотчас испугался, потому что после покушения на Чухнина все свидания с очаковским затворником были отменены, и у него могли быть неприятности по службе; но покушение это было грозным предупреждением и для самого Ронжина. Вот почему он, продолжая делать свое черное дело, предпочитал хоть немного прикрывать его «либеральными» жестами.

— Значит, еду! — взволнованно воскликнула Анна Петровна. — Дайте мне катер на морскую батарею.

— Ваш брат здесь.

— Где?

— На гауптвахте.

Известие это взволновало Анну Петровну. Брат был сейчас здесь, близко, в двух шагах, и никто раньше не сказал ей об этом!

Схватив муфту, Анна Петровна бросилась в «Семейные номера», чтобы забрать там зимние вещи брата и новый костюм, сшитый севаستопольским портным.

С острова морской батареи лейтенанта Шмидта привезли на гауптвахту утром. Шмидт был возбужден прогулкой. К пристани везли его в открытой пролетке, и он, вдыхая свежий воздух и шурясь, хотя утро было по-осеннему сумрачное, от уличного слепящего света, разглядывал витрину фотографий,

крендель над булочной, оборванную афишу на заборе и вдруг улыбнулся, прочитав вывеску парикмахера: «Кауфер Жан Тесемочкин из Парижа».

Весь остаток пути он ехал с улыбкой и только подъезжая подумал: «Почему же мне так весело? Ах да: «Кауфер Жан Тесемочкин из Парижа!»

Но мрачные стены гауптвахты заставили сразу позабыть улицы за окном, бодрящий свежий воздух.

Анна Петровна, пройдя караульное помещение, вошла в следующую комнату.

Брат лежал на диване. На некрашеном столе горела лампа, бросающая на стену оранжевый круг, и, может быть, еще и поэтому лицо брата выделялось в полумгле отчетливой желтизной.

Получилось так, что с первого момента встречи оба заговорили не о том, что сейчас было всего важнее. Вспомнили детство, как Аня поздравляла Петю с днем рождения. Вспомнился день, когда в маленькую Керчь пришел под командованием Пети океанский пароход «Диана».

Было это два года назад. В Керчь «Диана» зашла только на один день, и весь этот день в семье Анны Петровны был заполнен братом. Рано утром он разбудил всех живущих в небольшой квартирке под горой Митридат веселым смехом и вернулся на корабль с сестрой и ее четырьмя детьми. Запомнились мельчайшие подробности того дня — белоснежный китель брата, тихий его голос, прозрачные глаза, блеснувшие радостью, когда он рассказывал об океанском плавании и знакомил детей с кораблем. Он угощал их сладостями, привезенными из Порт-Саида, заводил граммофон, купленный сообща сослуживцами. Из граммофона вылетали веселые звуки кан-

кана, комический разговор клоунов, и смеялись дети, смеялся он сам. Потом позвал всех в свою каюту.

Между тем временем и сегодняшним днем прошла резкая черта, разделившая жизнь надвое. Надо было возвращаться к сегодняшнему дню.

Сестра рассказала ему о недавней поездке в Петербург. Там, в совете союза присяжных поверенных, она встретилась с адвокатами, которые приехали затем вместе с нею в Севастополь. Они отказались от гонорара. Один из них, Зарудный, занятый каким-то серьезным процессом, передал дело другому и поспешил в Очаков. Другой, Пергамент, проник к матросам в плавучую тюрьму и записал их показания. Третий, председатель совета де Плансон, по происхождению француз, сказал ей перед отъездом:

— Защита вашего брата — дело нашей совести. Судить будут не только его, но и нас.

Рассказала она и о встрече с петербургскими родственниками, у которых также попросила защиты. Один из них, сановник, напуганный ее появлением так же, как и родственник-артиллерист из Севастополя, нюхал нашатырный спирт, чтобы не лишиться чувств, дрожал и трясся в кресле всем жалким немощным телом, облаченным в мундир.

Брат смеялся, слушая этот рассказ. Он был доволен, что сын Женя живет сейчас в Керчи у Анны Петровны. Потом оба вспомнили один случай, когда поспорились из-за Жени так, что даже перестали переписываться. Сестра сказала тогда брату, что не нравится ей, как он воспитывает мальчика, предоставив ему полную свободу: не зная узды и лишенный матери, он может вырасти себялюбцем. Тогда брат обиделся. «Но ведь ты говорила так из любви ко мне, — сказал он теперь, — я уже давно не сержусь. Это было тогда...»

Лейтенант Шмидт подумал, что не только в этом он был неправ. Он теперь понял многое из того, что раньше казалось неясным, и ему стало больно от того, что понимание пришло к нему поздно. Да, надо было жить по-другому и, главное, надо было действовать по-другому.

Он думал об этом, когда кончилось свидание и он остался один.

Восстание началось выстрелом матроса Петрова, убившего штабс-капитана Штейна. Оно вспыхнуло стихийно. Не была готова к восстанию подпольная организация, которую после арестов вел за собою юноша Вороницын: она была и невелика и не умела возглавить массовое восстание. Было в ней немало и таких людей, которые больше всего озабочены были тем, чтобы придать протесту матросов мирный характер: забастовка, а не восстание, штиль, а не буря! Матросы же в большинстве были забиты тяжелой службой, чухнинской муштрой, многие из них были неграмотные, они не знали, что нужно бороться и можно бороться организованно. Некоторые из них, не зная, куда идти, оставались на сверхсрочной, чтобы после службы не возвращаться домой, к скудному хозяйству. Другие тосковали по дому и только о том и думали, чтобы вернуться, хотя бы и к полуничтоженскому существованию. Агитаторов, приезжавших с Балтики, арестовывали по доносам предателей, с которыми неспособна была бороться эта инертная среда. Приезжали им на смену другие, но и тех постигла такая же участь, а матросы-черноморцы оставались в неведении.

Правильно ли поступил он сам, когда, собираясь ехать в Москву и в другие города, чтобы поднимать там людей, вдруг отменил поездку и пошел на восставший крейсер, чтобы быть вместе с матросами?

Да, правильно. Но к восстанию надо было готовиться дольше, а если уже нельзя было медлить, надо было действовать решительнее. Он чувствовал, что совершил ошибку.

«Если так, то сам я должен за нее и ответить,— рассуждал он,— почему же страдают за меня другие?»

Каждый день, по два раза, начали водить его в военно-морское собрание, в суд. Окруженный конвойными с обнаженными шашками, он быстро проходил по прямой улице, подняв от ветра воротник штатского пальто. Путь был близкий: он не успевал ни надышаться свежим воздухом, ни рассмотреть улицу. Была она совершенно пустынной — теперь жителям запрещено было выходить на улицу, когда по ней ведут подсудимых.

Шмидт узнал, что дела троих матросов военным следствием выделены из общей группы и что судить их будут вместе с ним, отдельно от других. У низкого каменного помещения военного собрания он задерживал шаг, входил в суд медленно и там встречался с этими тремя. Увидев его, они мгновенно вставали и радостно приветствовали его, а он, стоя с ними рядом, улыбаясь им, продолжал терзаться своей виной перед ними.

«Судить должны меня, а не их,— все еще думал он,— меня одного».

В первый день суда Анна Петровна вышла на улицу очень рано. Из-за поворота показались верховые казаки. За ними, окружая очаковцев, шли конвойные. Промелькнули лица матросов.

Брата среди них не было. Анна Петровна поспешила к гауптвахте. Распахнулась дверь. Часовые вы-

шли на крыльцо и остановились. За ними, в новом костюме, мелькнувшем под незастегнутым пальто, смотря прямо перед собой, прошел брат. Произошло это все так быстро, что она не успела опомниться и только выкрикнула вслед:

— Петя!

И потом уже каждый день она стояла на улице, охраняемой верховыми, которыми командовал какой-то офицер, бритый и безбровый, и ждала, когда поведут подсудимых. Иногда приходилось ждать долго, тогда она присаживалась на тумбу.

Однажды она увидела необычную картину: по пустынной улице на мостовой прохаживалась небольшая веселая компания дам с офицерами, которые привезли их сюда, чтобы доставить развлечение. Из суда шла колонна матросов, и вот в их сторону полетел женский возглас:

— Мерзавцы! Каторжное отродье!

Лицо Частника, проходившего в этот момент по улице, потемнело. Анна Петровна увидела это, когда он поравнялся с нею, и, обменявшись мимолетными взглядами, оба они одновременно обратили внимание на даму, нагло смотревшую на матросов.

Анна Петровна подошла к ней и сказала:

— Как вы смеете?

— Что вам угодно?

— Как вы смеете оскорблять подсудимых?

— Каждый имеет на это право. Что вам от меня нужно?

— Уходите!

— Как? Почему? Вот это мне нравится! Сейчас проведут главного преступника. Не уйду, пока не увижу его.

Анна Петровна разыскала казачьего офицера. Тот выслушал ее, положив руку на эфес пашки, и тоже

возмутился тем, что на улицу пропустили эту компанию, в то время как остальным жителям запрещено было там появляться.

— Лежачего, вы правы, не бьют,— сочувственно проговорил он.— Действительно так.

Но Анна Петровна уже ничего не слышала и никого не видела, кроме Шмидта, которого вывели в этот момент из суда. Она пошла за ним в отдалении и остановилась перед гауптвахтой.

2

С первого дня суда лейтенант Шмидт почувствовал непонятное ему самому спокойствие.

По дороге туда он лишь изредка глядел по сторонам. Поспешность, с которой начался суд, поспешность, вызванная покушением на Чухнина, передана и конвойным, и они временами торопили подсудимого, хотя шел он, по своей привычке, быстро.

Он смотрел под ноги на скользкий крупный булыжник и думал лишь о том, как бы сохранить то ровное внутреннее состояние, которого достиг в дни и ночи заточения. Ничего хорошего не ждал он от суда и подготовил себя к самому худшему исходу. Все было уже продумано, взвешено, решено. Путь, которым он идет ежедневно,— его крестный путь, по которому он шагает навстречу своей судьбе.

Помещение суда, куда его приводили, он также разглядывал рассеянно. Жандармы стояли у входа и внутри здания навтыяжку, и на них подсудимый смотрел беззлобно, потому что знал, что в том времени, которое он призывал и которое придет, их уже не будет, что не останется от них никакого следа. Все это пройдет, как долгий тяжелый сон. Настанет

день, когда все это будет далеким. Все дурное пройдет, но не забудется доброе.

Такой скамьи подсудимых, какая полагается в судах по обычаю, в военном собрании не было. Вместо нее поставлены были длинные скамейки без спинок. Благодаря этому в первый день главный подсудимый хорошо рассмотрел зал, выкрашенный в светло-сиреневый цвет. В этом зале когда-то веселились на балах офицеры и очаковские дамы, гремела балльная музыка. Станным казался теперь этот уже принявший грязноватый оттенок сиреневый цвет в сочетании с сукном судейского стола.

Он разглядывал кресла, стоявшие за столом на помосте, широкие и высокие, задержал взгляд на правой стороне зала, где пониже стоял другой стол — стол прокурора, уставленный толстыми кожаными томами свода законов. Наполнившие зал офицеры местного гарнизона одеты были, как полагается в присутствии военного суда, в парадные мундиры. В зал вели четыре двери. У одной из них, с надписью «Совецательская», стояли два старых бородатых жандарма, величественных, как каменные идолы. Углы и шевроны на рукавах были знаком долголетней службы. Седые закрученные усы их не шевелились. Застыли в руках обнаженные пашки, и такие же неподвижные фигуры стояли у «прокурорской» двери, и дальше по всему залу, ибо в него не пускали посторонних. Даже в том, как размещены были подсудимые, угадывался умысел: впереди — главный преступник, одинокий на своей скамейке, позади — матросы, размещенные по порядку, в зависимости от «тяжести преступления».

Спокойное состояние Шмидта нарушилось, когда матросы, увидев его, поднялись со своих мест и выкрикнули хором, как один:

— Здравия желаем, Петр Петрович!

Антоненко поднял руку, приветствуя лейтенанта.

Гладков попытался что-то сказать, но конвойный прикрикнул на него, и после этого все четверо только молча переглядывались. Нарушая тревожно нависшую тишину, Шмидт сказал:

— На главные вопросы суда отвечать буду я, а на незначительные отвечайте каждый за себя. Дорогие мои друзья! Беру всю ответственность на себя.

Когда в зал вошли судьи, Шмидт поднялся вместе со всеми и вдруг потемнел, заметив среди вошедших знакомое лицо. Был это старший лейтенант Карказ. Пронзительные стеклышки его очков прощупывали Шмидта, и некуда было деваться от этого сверкания.

«Ага! — как бы говорил Карказ. — Я нашел тебя и здесь. Не спрячешься».

Но, подавив мгновенное движение чувства, Шмидт тотчас же успокоился.

«Да царствует в судах правда! — сказал он себе, когда председательствующий огласил фамилии еще трех судей, — командиров кораблей «Синоп», «Память Меркурия» и «Ростислав», расстреливавших в упор мятежный крейсер «Очаков».

Защитник Зарудный, одетый, как полагалось в суде, в строгий черный фрак, с черным галстуком-бабочкой на белоснежной манишке, немолодой, с печальными глазами, заявил отвод командирам, личным врагам подсудимого, но это требование суд отверг. Суд отказал защитникам и в том, чтобы допустить в зал Анну Петровну Избаш, сестру подсудимого, ссылаясь на то, что заседание происходит при закрытых дверях. Но почему же открылись двери для этих офицеров местного гарнизона, да еще одетых в парадные мундиры, как на праздник?

«Суд правый и милостивый...»

Но и это уже не огорчило подсудимого.

«Они никогда не поймут меня, — думал он о судьбах, — но я-то ведь знаю, что я — это я. Ведь они никогда не поверят, что победим мы, а не они. Пусть. Поймут нас миллионы».

Защитник Врублевский, также петербуржец, неожиданно нарушил ход его мыслей, потребовав для подсудимого медицинской экспертизы.

— Я здоров! — выкрикнул подсудимый с места. — Умственно и физически. Революцию делают не больные, а здоровые. Никакой экспертизы не допущу.

И потом уже до самого конца заседания он сидел спокойный, слушая обвинительный акт, точно говорилось о ком-то другом, а сам он отсутствовал. Слова не причиняли ему боли, они даже не задевали его.

Ровно и скудно двигались губы председателя, читавшего невнятно, и глухо звучал его голос.

— «Отставной лейтенант Шмидт Петр... — читал он, — преследуя революционные цели и стремясь к ниспровержению существующего в России государственного строя, для достижения этих целей вошел в сношение с восставшими 11 ноября 1905 года против начальства нижними чинами части Черноморского флота, причем своими речами поддерживал в восставших дух мятежа, убеждая их требовать от правительства созыва Учредительного собрания; затем, с намерением воспользоваться для тех же целей восставшими как вооруженной силой, 14 ноября 1905 года прибыл в форменной одежде на стоявший на Севастопольском рейде крейсер первого ранга «Очаков» и принял на себя начальствование над мятежной командой этого крейсера, 15 ноября завладел с помощью мятежников некоторыми другими суда-

ми, стоявшими в порту на рейде, после чего поднял сигнал эскадре: «Командую флотом. Шмидт», освободил содержащихся на учебном судне «Прут» арестованных чинов бывшего броненосца «Князь Потемкин Таврический», арестовал значительное число офицеров и, наконец, составил на имя государя императора телеграмму, в коей, называя себя командующим Черноморским флотом, требовал немедленного созыва Учредительного собрания, с угрозой в случае отказа неповиновением флота; когда же по мятежным судам был открыт артиллерийский огонь с судов эскадры и береговых батарей, он, Шмидт, приказал стрелять из орудий крейсера по эскадре и по батареям и, только убедившись в превосходстве силы на стороне верных долгу команд флота и сухопутных частей, покинул крейсер и попытался скрыться на миноносце № 270, на котором и был задержан...»

Слушая обвинение, Шмидт сидел не пошевелившись. Это не о нем. «Пытался скрыться...»

К Шмидту подошел в перерыве в коридоре Карнаухов-Краухов. Мученические его глаза глядели неотрывно, прямо, вопрошающе. Придвинувшись близко, матрос заговорил было о плавучей тюрьме, но тут же перенесся в прошлое, когда вместе они служили на океанском торговом пароходе «Игорь», один капитаном, другой штурманским учеником. Карнаухов-Краухов спешил вспомнить сразу обо всем, и на память ему приходили сейчас всякие подробности — какая-то карикатура, нарисованная на него тогда Шмидтом и висевшая в рубке. Вспомнилось даже название карикатуры: «Штурманский ученик на вахте». Но о том, что было недавно в плавучей тюрьме, не хотелось говорить подробно.

— На вахте, а? — тихо смеялся матрос.

Словно поняв его, Шмидт также заговорил о пустяке, хотя и из последнего времени, о каком-то карандаше. С большим трудом удалось лейтенанту выпросить этот карандаш в той же плавучей тюрьме, когда подплывал он к острову морской батареи, и он сделал быстрый набросок. «Мой остров» был назван его рисунок, изображавший узкую и длинную полосу земли в безбрежном море.

8

Допрос свидетелей начался в первый же день. Насчитывалось их много, до двухсот человек, но явилось всего человек пятьдесят. Среди приехавших некоторые подали докладные записки и медицинские справки о болезни, прося освободить их от участия в суде, некоторых отвел прокурор, и получилось так, что остались немногие. И почти все они были свидетелями обвинения.

На царя подействовало еще и письмо его матери из Дании. Вдовствующая царица известила сына:

«Вчера я, наконец, получила старое письмо от бедной Ксении, телеграммы совсем не доходят. Она в полном отчаянии от всех гадостей в Севастополе и пишет, что несколько дней положение в Ялте было очень неприятное, так как там ожидался приход взбунтовавшихся судов с подлецом Шмидтом. Но, слава богу, его поймали раньше, к большому разочарованию ялтинских революционеров. Надеюсь, что с Шмидтом покончили, а то, пожалуй, он еще убежит, с такими канальями церемониться не надо».

Шмидт не знал ни об этом письме, ни о чухнинских рапортах. А тревожился он только за остальных, за троих, и только их участь печалила его.

— «Старший баталер Частник...— продолжал читать председатель,— после отъезда с крейсера всех офицеров и кондукторов взял на себя управление судном и говорил команде речь, возбуждавшую ее к продолжению бунта. Когда Шмидт и другие мятежники привезли на «Очаков» арестованных офицеров, он, Частник, встречал их у трапа и объявлял от имени команды, что при покушении на жизнь Шмидта они будут наказаны смертью, делал распоряжения об обыске офицеров и указывал каюты, в которые они должны быть заключены под стражу. После подавления мятежа, будучи снят с «Очакова» на подошедшую шлюпку, держал себя крайне дерзко по отношению к находившемуся на этой шлюпке мичману Холодовскому, обращаясь к которому говорил: «Теперь вы нас убиваете и судите, а потом мы будем делать с вами то же... не я, так другие найдутся, которые за нас отомстят».

Гладков был среди главных организаторов мятежа. С самого начала подстрекал нижних чинов к неповиновению начальству и произносил возмутительные речи. 12 ноября, узнав о мятеже, происходившем в дивизии, дерзко требовал от офицеров посылки туда депутатов с «Очакова», угрожая в противном случае послать депутатов, невзирая на запрещение. Противился выдаче ударников и ружей, когда начальство требовало разоружения крейсера... Гладков, кроме того, говорил лейтенанту Винокурову о необходимости свергнуть весь существующий строй...

Антоненко подстрекал команду к мятежу и настаивал на посылке в дивизию депутатов, дерзко требовал, чтобы с «Очакова» отвечали на сигналы мятежников из дивизии, а когда старший офицер приказал убрать сигнальные фалы, он, Антоненко, побежал на мостик, грозил оттуда пальцем старшему

офицеру и кричал, что бунт устраивают сами офицеры; настойчиво подговаривал команду не отдавать начальству ударники от орудий и ружья, а когда начальством было предложено команде выделить из своей среды нежелающих повиноваться требованиям службы, он, Антоненко, уговаривал команду не делать этого, кричал при этом, что это ловушка, что офицерам бы только кровь увидеть».

Шмидт слегка встрепенулся, когда к столу подошел свидетель Зеленый. Это был офицер, бежавший с крейсера первым и больше других испугавшийся возмездия команды. Зеленый был арестован береговой командой как заложник, он сидел в двадцать восьмом экипаже и, значит, ничего не видел и ничего не знал о том, что произошло на «Очакове» и на других судах. Поэтому Шмидт возмутился, когда свидетель сказал о нем:

— Шмидт поцеловал Карнаухова-Краухова и сказал ему: «Ну, мой старый друг, будем действовать по заранее известному тебе плану».

Да, лейтенант поцеловал матроса. Но как мог видеть это Зеленый, арестованный накануне этого дня? Он не был очевидцем. Говорил с чужих слов. Какой же это свидетель?

Шмидт попросил слова.

— Господа судьи! — сказал он, поднимаясь с места. — В этом деле не должно быть ни одного слова неправды. Только одну правду слышите вы от меня, и я знаю, что вы мне поверите. Свидетель же, господин Зеленый, русский морской офицер, дает ложные показания... Я не отрицаю, что поцеловал Карнаухова-Краухова как своего старого друга, который был учеником под моей командой до военной службы. Но почему господин Зеленый говорит о том, чего он не видел и не слышал? Я распорядился арестовать

Зеленого, и он сидел на берегу как заложник... Я был командиром революционной эскадры, я издавал приказы, и они исполнялись. Если свидетели дают показания о том, что делали другие подсудимые, то это делал я и виноват в этом я, только я. Они выполняли мою волю, и за это я один должен понести наказание. Верьте мне, господа судьи, что я не утаю своих убеждений и целей, к которым я стремился. Вы, свидетель, носите мундир русского флота, и вы должны знать, что матросы строго подчиняются морской дисциплине, и подсудимые, сидящие здесь, не могли не исполнить моих революционных приказов. За неисполнение они понесли бы строгую кару от революционного суда. Мне не пришлось его применить, и это очень хорошо. В чем же виноваты эти матросы? За что вы их судите? За то, что они выполняли приказания своего начальника?

Мои приказы исполнялись не только судами, подчиненными моей эскадре, но... но и вы сами, господа судьи, со своими командами были подчинены моим приказам...

Председатель зазвонил в колокольчик и проговорил неожиданно громким и звучным голосом, которого никак нельзя было угадать в нем:

— Подсудимый, говорите по существу. Я лишу вас слова.

— Я говорю по существу,— продолжал Шмидт.— Вы помните, что я освобождал с «Прута» политических арестованных и арестовывал заложников. Вы не протестовали... Да, вы подчинялись моим распоряжениям. Вы также видели, что одним миноносцем я подчинил себе несколько броненосцев, вверенных Чухнину. Как я обезоруживал эти броненосцы? Об этом вам также известно. Я делал это, приказывая господам офицерам выдать мне ударники с орудий и

сдать оружие. И мне сдавали и то, и другое, а обезоруженные садились на борт моего миноносца и сами подвергали себя аресту как заложники... Все подчинялись и исполняли приказы нового командующего флотом. Почему же вы судите матросов? Что должны были делать сами господа арестованные офицеры во исполнение своего офицерского долга? Спротивляться? Но они, вместо того чтобы обнажить шпагу против моих действий, покорно сдавали мне свое оружие. Куда же девалась их преданность престолу? Храбрость? Мужество? Воинственный пыл? Вместо сопротивления они последовали за мной на «Очаков». Можете ли вы после этого судить только вот этих, сидящих со мною рядом честных, преданных людей за то, что они исполнили приказы начальства? Вы должны были либо обнажить оружие против меня, либо выбросить за борт ваше оружие. Вы этого не сделали, а подчинились моему приказу. Почему же вы обвиняете матросов в том, что они принимали участие в революционном восстании вместе со мной? Вы даете, свидетель, показания против матроса, не зная даже его. Вы, офицер императорского военноморского флота, должны знать, что матрос, любящий своего офицера, старшего товарища на корабле, не уходит от него, не оставляет его в опасности. Не было еще такого примера в истории флота. Нет, свидетель, вы не правы, и нет истины в ваших показаниях. Вините, господа судьи, меня, но не матросов, преданных своему командиру.

Шмидт, умолкнув, сел на скамейку. Глаза его от усталости полузакрылись. Несколько раз он провел ладонью по волосам. Откинув голову, он, прищурившись, поглядел по сторонам, и опять взгляд его стал далеким. Судебный зал снова ушел от него вдаль, с судьями-мухамн, точно глядел он на них в морской

бинокль с обратной стороны. Где-то очень далеко шумел морской прибой, совсем приглушенный, едва слышный. Громко в наступившей тишине прозвучали шаги уходявшего свидетеля Зеленого.

— Свидетель мичман Холодовский! — провозгласил председатель.

Смешно было Шмидту увидеть знакомого мичмана, отличавшегося всегда высокомерием, гордостью и пренебрежительным отношением к «нижним чинам», у судейского стола, где он стоял с плаксивым выражением на молодом выхоленном лице. Почему он так растерялся?

— Скажите, свидетель, что вы знаете по делу революционного крейсера «Очаков» и о действиях кондуктора Частника?

— Я... Я... Я что знаю? — растерянно проговорил Холодовский, напоминая ученика, стоящего перед классной доской и забывшего урок.— Я?.. Что мне известно?.. Известно, что кондуктор Частник... да, именно он стоял на «Очакове» и кричал... извините... Он кричал: «Умремте, товарищи, на славном «Очакове» и будем верны нашей клятве»...

Мичман замолчал.

— Ну и еще что можете сказать?

— Я... Я больше ничего не знаю.

— Припомните.

— В-ваше превосходительство, я больше ничего не видел.

— А вот вы, кажется, снимали с «Очакова» матросов и офицеров-заложников.

— Матросов? Офицеров? Я?.. Да, да мы снимали. Убитых и раненых. Даже куски тел собрали в паровой котел... И... и доставили на «Ростислав». Больше ничего не знаю. Совершенно ничего.

— А Частник что говорил вам?

— Совершенно ничего... Нет, говорил!.. Он говорил...

— Что говорил? Успокойтесь. Продолжайте.

Мичман опять замолчал. Потом вдруг неожиданно крикливым голосом быстро, почти скороговоркой, стремясь поскорее избавиться от допроса, выпалил:

— Кондуктор Частник говорил, прошу меня извинить: «Ну что ж, теперь вы нас расстреливаете, а придет время, мы вас расстреляем. Если не мы, то другие отомстят за нас».

Мичман, высказав это, повеселел. Вот бы сейчас, после того, как он сказал то главное, что от него требовалось, избавиться наконец от дальнейших показаний! Почему-то их легко было подтверждать на предварительном следствии и так трудно повторять сейчас в зале, где слушал его тот, против кого он выступает.

— Можно идти? — спросил он.

Но допрос продолжался.

— Скажите, свидетель, известны ли вам поступки подсудимого Шмидта, когда он арестовывал офицеров, и как происходил этот факт?

— Не знаю.

— Вспомните.

Прокурор Ронжин так долго наставлял свидетеля на «путь истинный», что поднялись с мест возмущенные защитники.

Окончилось заседание первого дня. Матросов вывели в коридор, где они присели в ожидании казачьего конвоя. Потом они окружили Шмидта. Он курил и напряженно морщил лоб, думая о чем-то своем, и не слышал всех слов, обращенных к нему, и не видел всех окруживших его. Иногда он отвечал на вопросы невпопад. Или отвечал не сразу. По этим признакам можно было догадаться о состоянии его души,

охваченной тем же удивительным спокойствием и безразличием к собственной участи.

«Я-то ведь знаю, кто я,— размышлял он.— Пусть суд пачкает и топчет меня, но меня самого трудно обмануть. Никакая ложь не коснется меня. Никакая гадость не должна возмутить меня. Что сейчас нужно? Сохранить веру в себя. Знать и помнить, что прав я, а не они, что если придется погибнуть, то погибну за высшую справедливость, за человеческое счастье. Только это нужно помнить. А все остальное пусть меня не волнует, потому что все пройдет, кроме моей правды».

Матросам он сказал:

— Друзья мои, вы только помните нашу клятву на «Очакове», когда мы обещали быть верными своему идеалу. О своей жизни я не думаю. Ваша жизнь дороже мне. Я думаю только о вас, о своем сыне, о сестре и...

Он не закончил фразу, потому что в этот момент закашлялся от папирозного дыма и, быть может, еще и потому, что вспомнил о ком-то, кого они не знали.

Глава вторая

Приговор

1

На пороге гауптвахты показалась Зинаида Ивановна, румяная, в шубке, сверкающей тающими снежинками, с улыбающимися глазами, дышащая морозной свежестью.

Она протянула Шмидту медальон, и тот, раскрыв,

увидел в нем ее портрет. Она сама повесила медальон ему на шею, и узнику от этого стало так хорошо, что в его усталых глазах сверкнула радость.

Она уезжала к знакомой в Одессу, потом опоздала на пароход и вернулась в Очаков не до суда, как собиралась, а после первого заседания.

Протянув гостье обе руки, Шмидт воскликнул:

— Зина!

В одном этом имени высказалась вся его жажда милой, простой женской любви, которой он никогда не знал.

Молча глядя на нее, он вспомнил, как получил в каземате ее карточку в первый раз. Женщина глядела с фотографии задорно и слегка вызывающе. Он холодно разглядывал тщательную ретушь, незнанные черты, повернул карточку обратной стороной и читал на глянцеvitом картоне фамилию киевского фотографа, окруженную медалями, полученными им на какой-то выставке. Он усомнился даже, помнит ли ее лицо. Все, что тогда запомнилось, были ретушь и глянец. А потом к нему пришла женщина, не искаженная фотографией, настоящая, милая, та, кого он любил.

— Зина!

Писем от ЗИР Шмидт ждал с лета прошлого года и всегда жадно искал в них того, чего в них не было, даже между строками. Видно, думал Шмидт, она была из тех людей, которые неспособны выразить себя в письме, не умеют высказать посредством пера всей глубины своего чувства. Но он верил, что, расставшись со случайной спутницей после первой встречи в вагоне, он унес с собою ее истинный облик.

Шмидт вывел ее на середину комнаты. Свет керосиновой лампы падал прямо на нее. Он подвел ее к свету так, как подносил к свету ее письма, и задер-

жался взглядом на ее губах, на глазах, глядевших на него грустно и взволнованно.

— Я здесь,— тихо проговорила она,— ну вот, я рядом.

Она положила руку на его плечо. Тепло ее руки передалось ему, он вздрогнул и улыбнулся. Истомленное похудевшее лицо его с впавшими пронзительно-лучистыми глазами показалось ей небывало родным. Он видел, что ей хотелось сказать ему что-то важное, еще не высказанное, но она молчала. Да, думал он, невозможно это говорить под взглядами вслушивающихся жандармов.

— погоди, не уходи...— безотчетно шептал он, когда свидание было окончено, а когда она ушла, долго не мог прийти в себя и продолжал тихонько твердить ее имя. Потом, подойдя к столу, начал писать ей письмо, торопясь сказать то, чего не успел сказать при свидании.

Написал он и сыну:

«Голубчик мой, Женя! Мой честный, горячо любимый сын и друг! Мы вместе с тобой пережили этот кровавый день на «Очакове», мы вместе хотели принять смерть, но сама справедливость спасла твою молодую жизнь. Сама справедливость спасла меня от смерти в тот день для того, чтобы я мог умереть, объяснив русским людям, за что умираю я. Живи же, мой мальчик, живи, сын мой!..

Крепко обнимаю тебя, сыночек мой хороший, крепко люблю».

В суде после перерыва выступил прокурор.

— Господа судьи! — начал он. — Вы слышали, что подсудимый Шмидт говорил вам только одну правду и особенно старался убедить вас в невинности якобы невинных матросов, сидящих здесь на скамье подсудимых. Сам Шмидт не отрицает, что арестованных офицеров, его бывших сотоварищей, он как заложников держал у себя в трюме и подчинил несчастные жертвы своим преступным революционным приказам, заставляя их писать правительственным властям письма вроде следующего:

«Если будет арестован хотя бы один матрос революционной эскадры, то будут казнены два заложника из находящихся в трюме». И все эти революционные приказы исполнялись вот этими якобы невинными людьми!

Кроме того, вы слышали, господа судьи, что распространение революционных идей, направленных к ниспровержению существующего строя в России, достигло громадных размеров. Следовательно, его единомышленники, сидящие здесь, с ним рядом, разделяли его стремления, идеи и действия. Между тем подсудимый отрицает виновность подсудимых матросов, и вы только и слышите здесь на суде, что «это не они, это я делал, я приказывал, и не только на «Очакове». Мои приказы принимались всей революционной эскадрой, примкнувшей к «Очакову»». Разве его единомышленникам не было известно содержание телеграммы на имя государя императора, имеющейся у вас в деле? Вот эта телеграмма: «Государь, Черноморский флот вышел из повиновения твоим безответственным министрам, отрезал Крымский полуостров, объявляет его федеративной республикой, тре-

бует полной амнистии политическим заключенным и скорейшего созыва Учредительного собрания...»

Посмотрите на этих преступных революционеров, державших не бомбы Кибальчича, а контрминоносец «Свирепый» с его ужасным смертоносным оружием — минами, готовясь взорвать всю великую севастопольскую эскадру. Разве эти преступные революционеры не заставили трепетать правительственную эскадру, не принудили офицеров подчиниться и сдать оружие и ударники? Разве эти преступники не терроризировали верные войска? Разве они не принимали участие в тяжелом ранении контрадмирала Писаревского? Разве эти подсудимые не увлекли своими революционными преступными целями тысячи матросов, погибших на севастопольском рейде? Из-за них они похоронены на дне бухты...

Я прошу на основании закона военно-морского устава... применить к подсудимым смертную казнь.

Шмидт, высоко подняв голову, безмолвно слушал прокурора. Он скоро утомился от его монотонного голоса, громко вбивавшего в зал каждое слово, как гвоздь. Склонившись над столом, Шмидт начал рисовать на листках бумаги, лежавших перед ним, какие-то значки, спину и затылок человека в круглой шляпе, один листок исчеркал небольшими кружочками и квадратами, похожими на игру «морской бой», написал его быстрым крупным почерком: «Зал суда. 15 февраля. Рисовал для Аси во время речи прокурора». Потом положил карандаш, ничего не рисовал, никуда не глядел. В конце речи прокурора поглядел на него с недоумением и подумал: «Это когда же было? Кого и когда мы похоронили на дне бухты?»

А когда окончилась речь и Ронжин, складывая в портфель бумаги, сел на свое место, Шмидт обернулся к матросам и сказал им ласково:

— Нет, вас не казнят.

И в коридоре, во время перерыва, повторил:

— Нет, суд не согласится с прокурором. Есть ведь и адвокаты. Вы будете жить.

— Мы ведь тоже, Петр Петрович, хоть своей шкурой дорожим, да знаем, на что пошли и ко всему готовы,— сурово за всех ответил лейтенанту Частник.

Во время второго перерыва Шмидта уже не пустили к матросам, а отвели в отдельную комнату.

Старик-жандарм с моржовыми усами, желтыми от курева, сказал очаковцам в коридоре:

— На бога надейтесь, вот что. Он дает жизнь, он и отнимает. Господу богу помолитесь, вот что.

И опять, как и в разговоре с вахмистром, взорвался Частник:

— Замолчи,— сказал он жандарму,— труп смердящий.

— Тойсть как? Это почему?

— Сколько лет ты служишь на своем мерзком посту?

— Тридцать три года.

— Стыдись! Сколько народу за это время казнено с твоей помощью. Скольких погубил. И всех ты утешал лживым «набожным» поучением. Что хорошее может исходить из твоих нечистых уст? Побереги, жандарм, божье слово для твоих детей, а мы без него обойдемся.

Начались выступления защитников. Верилось, что они разобьют доводы прокурора: адвокаты, приехавшие из Петербурга, были известны по громким политическим процессам, которые удавалось им выигрывать, а один из них сам был в недавнем прошлом ссыльнопоселенцем.

— Господа судьи! — сказал адвокат Зарудный. — Посмотрите на явную ненависть русского народа к старому отжившему строю России. Вы увидите, что эта яркая ненависть выражается в смелых заговорах и в непрерывных восстаниях, в громких жалобах, приносимых суду, который один в угоду нескольким коронованным лицам бездействует в России. Приговоры российского суда только и создавали расстрелы и виселицы. Города и деревни обеднели, лишены трудоспособных честных рабочих рук. Россия превратилась в арену гибели, на которой падают невинные жертвы. И палач не перестает заносить свое страшное оружие — петлю и винтовку над лучшими мыслящими людьми России. Но стремление к свободе не уменьшается... Благородные, самоотверженные борцы, полные силы и мужества, смело идут к свободе, к осуществлению народных стремлений. Они идут и будут идти вперед, не страшась жестоких приговоров, пыток, виселиц, расстрелов...

Колокольчик председателя прервал защитника. Тот замолчал, не скрывая возмущения. В зале поднялся шум, из которого начали вырываться возгласы судей:

— Безобразия!

Ронжин потребовал, чтобы занесены были в протокол «возмутительнейшие слова господина защитника». И хотя протокол был составлен, к Зарудному присоединились другие адвокаты. Они говорили так же смело, с дерзким вызовом суду.

— Да, народ вышел на бой с самодержавием, — сказал Александров, бывший член I Государственной думы и член Союза петербургских рабочих, — и никаким силам никогда не остановить этого могучего движения. Помните, что лейтенант Шмидт, которому вы угрожаете смертью, это — рулевой, уполномочен-

ный народом вести корабль к светлому манящему берегу. Он часть единого целого. Капля бурной волны. Убивая его, вы убиваете народ. Помните это, господа судьи!

Но суд шел напролом, ни на что не обращая внимания, к цели, указанной свыше.

Приговор был предрешен. Это угадывалось и по ленивым перешептываниям судей: им заранее все было известно.

Наконец председатель предоставил последнее слово подсудимым.

Матросы от последнего слова отказались, доверив говорить одному Шмидту. Это приближало дело к концу, и прокурор заметно повеселел, откинувшись на спинку кресла и закрыл глаза, когда Шмидт, сидевший в задумчивости, поднялся со своего места и, поглядев на него как бы издали, начал говорить свое последнее слово. Внешне Ровжин по-прежнему был спокоен, но невольная тревога зарождалась в нем под этим взглядом, и он почувствовал облегчение, когда Шмидт перевел взгляд на председателя.

3

— Господа судьи! — начал Шмидт. — Долг справедливости побуждает меня сказать правду не только перед судом, но и перед великой родиной. Эти, здесь вами судимые, не виновны. Не обрекайте их на жестокую, не заслуженную ими смертную казнь... Они не знали моих стремлений, моих революционных задач, а если и знали, то немногие. Я их вел, как каждый командир ведет свой корабль, на котором тысячи матросов не знают курса идущего стального броненосца. Командир корабля подчиняет себе многочис-

ленную команду, которая не думает о том, куда вы направили ваш корабль. Они только помнят дисциплину, выполняют распоряжения и приказы командира. Они не думают, что вы направили свой корабль на бушующие, рокочущие волны океана, где корабль, бессильный бороться, должен погибнуть.

Если же матросы и видят, что вы направили руль корабля на плавучую мину и гибель корабля неизбежна, то матрос, любящий своего командира и безусловно верящий ему, будет принимать его команду до последней минуты, до своей гибели. Вот вам яркий пример — здесь сидящие. Я уверен, что они предвидели свою гибель, что они видели неравную борьбу между Чухнинным и мной. Они неоднократно меня предупреждали, что на меня вся эскадра и сухопутные крепости направили тяжелые орудия, перед которыми «Очаков» не может устоять. Но я им напоминал об их долге и революционной дисциплине и о той великой клятве перед поднятием красного вымпела, которой я их заставил клясться. Они приняли присягу и знали, что они будут верны своему долгу, всем моим приказаниям...

Господа судьи! Я повторяю один данную мною ранее клятву и клянусь вам, что они не виновны. Клянусь вам любимым сыном в том, что остальные подсудимые не должны быть судимы наравне со мною. Они не виновны. Казните меня самыми жестокими пытками, если нужны мои страдания, если нужна моя кровь. Я готов стать жертвой вашего приговора. Но их не казните. Они не виновны.

Господа судьи! Я повторяю вам, что не должно быть ни одного слова неправды в этом деле. Только одну правду вы слышали от меня.

Предсмертная серьезность моего положения, ответственность перед родиной побуждают меня еще

раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут вместе со мной вашего приговора.

Верьте мне, господа судьи, что никого из них нельзя карать наравне со мной. Я не прошу для себя снисхождения вашего, я не жду его... Нет робости во мне, и не смутится дух мой, когда услышу ваш приговор...

Не первая Россия переживает дни потрясений, и в истории всех народов при взаимном столкновении двух начал — отжившей и молодой, нарождающейся жизни — были всегда жертвы. В минуту государственного хаоса не могут не возникать такие глубоко трагические потрясения...

Когда начали отнимать у народа провозглашенные политические права, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины. Сознание это дает мне много силы... Впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию...

Закончив свою горячую речь, Шмидт потерял сознание.

Дежурный врач в белом халате, из-под которого выглядывали форменные брюки с зелеными кантами, щупал пульс подсудимого. В судебном зале наступило безмолвие. И вдруг прорвался чей-то глубокий стон, потом тихий плач. Это плакал конвойный солдат. Вслед за ним и другой всхлипнул, вытирая рукавом слезы. Их тотчас же заменили унтерами.

В последний день суда, перед приговором, Шмидт сидел на той же скамейке. Он вслушивался в тихий

гул по всему залу, когда суд удалился на совещание, и вглядывался в лица, почти не видя их.

«Мучительно тяжело заранее знать, что участь твоя решена и тебя не будет среди тех, кто победит,— думал он в эти минуты перед приговором.— Но я не могу и роптать на свою судьбу. Я испытал счастье борьбы. Мы ее начали. Люди навсегда запомнят этот год. Девятьсот пятый».

Звонок, возвестивший, что суд идет, оторвал его от этих мыслей. Вместе с другими и он поднялся, стоял долго, пока председатель читал приговор. И он только слегка вадрогнул, услышав заключительные слова приговора, которым лейтенант в отставке Петр Петрович Шмидт, тридцати девяти лет, был осужден на смертную казнь через повешение, старший баталер Сергей Петрович Частник, машинист Александр Иванович Гладков, комендор Никита Григорьевич Антоненко — на смертную казнь через расстреляние.

4

Анна Петровна и Зинаида Ивановна стояли на улице, у входа в суд. Заседание в этот день, казалось, никогда не кончится. Кучера на облучках мерзли, слезали на тротуар, хлопали руками, топали ногами и тоскливо поглядывали на застоявшихся лошадей. Нетерпеливо ждали и городовые, заочечневшие на морозе, и часовые, ожидающие смены.

Дверь открылась поздно вечером. Анну Петровну и Зинаиду Ивановну впустили в небольшую комнату справа за прихожей, и там пришлось тоже ждать, но уже недолго. Вскоре вошел туда Шмидт. Он остановился у порога, окруженный конвоем, спокойный, показавшийся выше ростом. Матросы обнимали его, благодарили и прощались с ним.

«Прощаются!» — тревожно подумала Анна Петровна и онемела. Брат стоял рядом, молчаливый, познавший что-то большое, неведомое ей, ушедший куда-то далеко.

— Приговора такого я ждал, — тихо проговорил он, — жаль только, что к повешению.

— Петя... — проговорила сестра. — Если б мама была жива...

— Да?

— Если бы она была жива, стала бы перед тобой на колени... Поклонилась бы тебе низко...

Они присели на ветхом деревянном топчане, торчавшем в тесной комнате, куда приводили посетителей, и молчали... Кто-то принес из буфета бутерброд с семгой.

— Ешьте, — сказала Зинаида Ивановна Шмидту.

Он взглянул на нее отрешенно, покачал головой и тихо спросил:

— Зачем?

— Ну, вот и хорошо, — сказал он потом сестре, — ты не плачешь.

И пожал ее руку, лежавшую на его колене.

Их уже торопили конвойные.

— Мы сейчас подойдем к воротам, — проговорила она, вставая.

Он обнял сестру, взглянул в глаза Зинаиде Ивановне. Конвойные обступили его теснее, обнажили пашки. Спокойный, с высоко поднятой головой, он пошел между ними.

Женщины быстро обогнули здание, и когда приблизились к воротам, увидели там матросов, которых выводили из суда на улицу.

Впереди шли Антоненко и Гладков. За ними медленно шагал Частник. Замыкая шествие, показался



Анна Петровна, не обращая внимания на копвойных, подошла к нему и взяла его за руку. То же сделала и Зинаида Ивановна. Женщины пошли рядом с ним, среди смертников. Большая толпа, стоявшая вдоль всей дороги от клубного здания к пристани, где чернела на приколе транспортная баржа, склонилась перед ними. Не было криков, возгласов, не было слов. Молчание. И когда кто-то в толпе запел похоронный марш, Шмидт повернул к нему голову и тихо проговорил:

— Не надо.

Гладков и Антоненко сорвали с себя погоны, бросили их на дорогу, затоптали ногами. Шмидт подобрал их, бережно счистил с них снежную пыль и положил в муфту сестры. Та прижала муфту к сердцу.

За углом показались очертания пристани. Над заливом было так же безмолвно. Женщины остановились. Молодой подхорунжий грубо сказал им, глядя куда-то мимо:

— Дальше нельзя.

Анна Петровна молча припала к груди брата и попрощалась с ним. Потом, обгоняя шествие, заторопилась к барже, увозившей приговоренных к транспортному судну «Прут», и услышала, как тишину пробудил резкий возглас вахмистра:

— На-а-ле-ево, головы выше! Ать-два, ать-два, ать-два...

Баржа, покружив у берега, медленно отошла от него и поплыла дальше. Она мелькнула точкой на горизонте. Потом и точка пропала.

Глава третья

Синий карандаш

1

В ту же ночь Анна Петровна уехала в Петербург.

Оставалось очень мало времени до утверждения Чухниным приговора, и она спешила просить помилования. Защитники послали председателю совета министров графу Витте телеграмму с просьбой принять госпожу Избаш. Уезжала она в надежде на встречу с ним. Ее уверили, что среди царских министров он слывет самым умным и яснее других понимающим все убожество царя, неспособного править страной.

В канцелярию председателя совета министров Анна Петровна направилась прямо с вокзала, чтобы узнать, когда она сможет быть принята, но получилось так, что не успела она сказать и нескольких слов секретарю, как какой-то чиновник примчался и проговорил:

— Его сиятельство просит вас.

Он проводил ее до двери кабинета.

Анна Петровна не чувствовала себя сейчас просительницей. Она не плакала, не унижалась, не жаловалась, как это было недавно, до приговора. Что-то новое произошло в ней после прощания на пристани, когда брат, приговоренный к смерти, был спокойнее ее. Смело, не пугаясь встречи со всемогущим сановником, Анна Петровна вошла в кабинет. Она приняла как должное, что Витте, увидев ее, поднялся и пошел ей навстречу.

Он указал ей на кресло и сам сел только после нее. Положив на стол руки и слегка склонив голову, он тихо проговорил:

— Слушаю вас, сударыня.

— Я прошу помилования для моего брата лейтенанта Шмидта. Вы должны этого добиться, граф! — твердо проговорила она.

Витте поднялся с места. Остановился у окна, спиной к нему, и сказал, не спуская с Анны Петровны взгляда:

— Я всегда говорил и всегда был того мнения, что если бы с лейтенантом Шмидтом покончили тогда на «Ростиславе», сейчас же после восстания, это — ну как бы вам сказать? — это можно было бы еще понять и допустить, как поступок, совершенный в бою. Но сейчас, после трех с половиной месяцев заключения! После всеобщего сочувствия, протестов, возмущения! Сейчас? Казнить? Это уже ненужная жестокость. И опасная.

Снова присев к письменному столу, он, прямо глядя в глаза посетительнице, продолжал:

— Сейчас обо мне пишут много злой неправды. Я русский до глубины души. Люблю Россию и знаю, когда надо предостеречь от ошибки, когда надо охранить ее ради ее процветания. Я уже говорил и писал, что необходимо смягчить участь лейтенанта Шмидта. И еще буду писать. Обещаю вам, милостивая государыня, полную поддержку.

«Петя будет спасен! — радостно подумала Анна Петровна. — Будет жить. Господи, что ж это я молчу? Надо поблагодарить».

Произнеся несколько слов благодарности, она выбежала из кабинета.

Витте, оставшись один, долго еще сидел в кресле неподвижно, думая с нарастающим раздражением о

«нем» — о царе: «Какой дурак! Боже мой, казнить этого лейтенанта в такое время!»

Отменить казнь! Так решил Витте еще до визита Анны Петровны. И сейчас он еще раз обдумывал, как начать разговор об этом с его императорским величеством, унизившим себя тупой злобой к человеку, находящемуся в его власти.

Витте был прозорливее и дальновиднее других министров, поэтому был уступчивее, гибче на крутых поворотах, когда революция стояла у дверей. Но, заигрывая с революцией на словах, он на деле поторопился поскорее заключить с японцами позорный Портсмутский мир и покончить с войной, чтобы бросить все силы на борьбу с «врагом внутренним». Улыбаясь либералам и демократам, он в то же время послал в Севастополь усмирителя Меллер-Закомельского.

Казнь лейтенанта Шмидта он решил отменить только для того, чтобы не подвергать лишнему испытанию прочность императорской власти на Руси.

2

На другой день, развернув утреннюю газету, Анна Петровна прочитала в ней сообщение под крупным заголовком: «Госпожа Избаш у графа Витте». В сообщении указывалось, что она была принята немедленно, беседа длилась сорок минут и закончилась обещанием графа спасти лейтенанта.

Вчера она не чувствовала времени и не знала, что прием продолжался так долго. Не думала она о том, кто уведомил редакцию об этом разговоре и почему газета известила о нем читателей. Ей было ясно од-

но: не нужны уже дальнейшие хлопоты. Остались какие-то мелочи. Формальности. Не больше.

Чтобы окончательно убедиться, насколько можно верить обретенному счастью, Анна Петровна все же заехала на Забалканский проспект к знакомому вельможе, знавшему ее еще девочкой, когда она жила у тетки. Он был другом их семьи.

Узнав, зачем она пришла, князь всплеснул руками.

— Как же! Читал в газете! Не тревожься ни о чем, граф все сделает.

Он перекрестил ее.

— Благослови тебя господь.

Уверенная в том, что удалось отвести брата от смерти, она думала теперь уже о том, как облегчить ему дальнейшее пребывание в крепости, на каторге или в ссылке, куда его пошлют, как помочь ему сбросить здоровье. И прежде чем вернуться в Очаков, она снова пошла по присутственным местам.

Ни морской министр Бирюлев, ни министр внутренних дел Дурново не приняли ее. Она сообщила об этом в совет Союза присяжных поверенных. На следующий день к ней в гостиницу приехал председатель совета де Плансон. Положив на круглый столик котелок и перчатки, он протянул Анне Петровне рекомендательное письмо для Бирюлева, написанное одной высокой особой.

— Торопитесь! — сказал при этом де Плансон. — Нельзя терять ни одного дня. Ни одного часа.

— Но ведь граф обещал?

— Торопитесь.

— Вы думаете, что это... еще не все?

— Да.

— И граф может изменить решение?

— Нет, своих решений он не меняет. Но есть 245

вопросы, в которых он не властен. К сожалению, не все зависит от него.

— Что же я должна сейчас делать?

— Отвезти немедленно письмо.

Письмо к Бирюлеву Анна Петровна отвезла тотчас же. Ответ был обещан на следующий день.

Она поехала с другим рекомендательным письмом, полученным от защитника Балавинского, к другому сановнику, члену Государственного совета. Не прочитав письма, он принял Анну Петровну чрезвычайно любезно.

— Помилуйте, какие могут быть сомнения! — бодро воскликнул он, когда узнал, зачем пришла к нему дама. — Вопрос о вашем брате решен положительно. Помилуйте, после слов Сергея Юльевича... Весьма охотно помогу, чем буду в силах. Сожалею, что вы не посетили меня вчера. Утром было заседание Государственного совета, и я мог бы доложить о деле вашего брата и этих... как их... нижних чинов. Но не отчаивайтесь. Следующее заседание предстоит в ближайшие дни, в самые ближайшие. И я обязательно доложу. Приходите.

Слова эти, сказанные мягким голосом, успокоили Анну Петровну, и опять она шептала себе:

— Петя будет жить...

Это писали те же газеты, которые требовали для него смертной казни...

Дурново не принял ведь госпожу Избаш. К Бирюлеву она собиралась прийти снова четвертого марта. В этот день, уходя в морское министерство, она столкнулась у входа в гостиницу с адвокатом Зарудным. Она испуганно вскрикнула. Зарудный был бледен. В руке он держал телеграмму, полученную только что из Очакова от Балавинского. Протянув ее Анне

Петровне, он закрыл глаза ладонью. В телеграмме было сказано:

«Если Петербург не сделает немедленного распоряжения, приговор будет приведен в исполнение. Делятся грозные приготовления».

У подъезда Анне Петровне вручили другую телеграмму. От Балавинского:

«Приговор подтвержден. «Терец» выходит в Очков сегодня вечером».

Зарудный кликнул извозчика. Сел в пролетку рядом с Анной Петровной и назвал кучеру адрес морского министерства. Бирюлев опять отказал в приеме, передав через чиновника, что он уехал на похороны какой-то дальней родственницы.

На следующий день Анна Петровна снова поехала к Витте.

Был ранний час, когда в приемной графа никого еще не было, кроме курьера, но сам граф, как всегда, уже давно сидел в своем кабинете за письменным столом. Анна Петровна набросала на листке несколько фраз, приложила последнюю телеграмму Балавинского и передала с курьером. Тот мгновенно вернулся и проводил раннюю посетительницу в кабинет.

— Дорогая моя, я понимаю ваше состояние! — воскликнул Витте, поднимаясь навстречу. — Все понимаю.

Было в его голосе столько искреннего участия, что естественно, почти по-родственному, прозвучало и это слово «дорогая».

— Я писал, я сделал все, что мог, — продолжал он. — Посмотрите.

Он достал из письменного стола отпечатанный на машинке лист, но загнул верхний его угол. Лиловые буквы мелькали перед глазами посетительницы. Поднявшись и подойдя совсем близко, она с большим

трудом разобрала текст. Да, Витте просил царя отменить смертный приговор. Но почему же он не дает прочесть, что там, в верхнем углу?

— Что там? — произнесла Анна Петровна. — Отогните, прошу вас, этот угол.

— Читайте. Вот что ответил мне государь. Вы знаете его почерк?

— Нет, не знаю.

— Читайте.

Витте отогнул загнутый уголок листа, но она не могла разобрать нескольких слов, написанных в углу синим карандашом.

Анна Петровна громко спросила:

— Что написано синим карандашом?

Витте, потупившись, ответил:

— Больше я ничего не могу сделать.

Он поднялся с кресла.

— Почему? — спросила Анна Петровна, все еще не сознавая, что произошло. — Почему вы ничего не можете сделать?

Витте, махнув рукой, взглянул на посетительницу выжидающе-удивленными глазами.

Анна Петровна поднялась.

— Куда же мне теперь идти?

— Куда? — переспросил Витте. — Не знаю.

— Может быть... опять к морскому министру?

— Может быть.

Витте молча проводил Анну Петровну через приемную.

У Бирюлева адъютант заставил долго прождать в приемной, но и на этот раз впустию.

— Его превосходительство не может вас принять! — проговорил он безразличным голосом, выйдя от министра.

— Получил он письмо?

— Получил.

— Что же он сказал?

— Просил передать: принять не могу, потому что бессилён чем-нибудь помочь. Свидание будет тяжёлым и для меня, и для сестры лейтенанта.

— Это все?

— Все.

Вечером Анна Петровна уехала в Очаков.

В Москве поезд стоял долго. Она послала в Очаков телеграмму коменданту, прося его сообщить по адресу «Киев — вокзал», в каком сейчас положении брат. Ответ получила в Киеве.

«Мне неизвестно. Все передано морскому ведомству».

Почти с каждой большой станции телеграфировала она в разные места, разным лицам. Одна из телеграмм, адресованная в Севастополь Чухнину, взывала: «Остановите казнь, погодите!»

На станции и в вагоне незнакомые люди говорили о лейтенанте Шмидте. Кто-то положил перед Анной Петровной на столике газету. Была это скучная, спокойная, либерально-профессорская газета, но даже и в такой газете Анна Петровна прочитала:

«Внимание всей России сосредоточено сейчас на участии одного человека... Казалось бы, что могла значить для общества жизнь одного человека? Почему с таким лихорадочным чувством, с таким беспокойным вниманием останавливается читатель на телеграммах, идущих из Севастополя и говорящих о будущем лейтенанта Шмидта? Приговор над несчастным вождем очаковского дела волнует общество...

Право ли оно, так выделяя одного человека над массой других, расстреливаемых, вешаемых, казнённых? Тот, кто внимательно посмотрит на причины этого беспокойного отношения общества, должен

признать, что оно право. Право оно потому, что в судьбе несчастного лейтенанта Черноморского флота он увидит выражение своей собственной участи...

Шмидт повторяет историю всего русского общества в переживаемый нами момент... Его цели сливались с началами, возведенными в манифесте 17 октября. Он защищал эти начала и за них несет теперь наказание. В таком положении находится значительная часть русского общества. Подобно лейтенанту Шмидту, оно с болезненной чуткостью отнеслось к раскрывающейся перед ним задаче, и так же, как он, оно стоит теперь перед вопросом, будет ли совершена смертная казнь над «незыблемыми основами гражданской свободы».

Анна Петровна сложила газету и посмотрела в окно. Облака бежали по небу. Окна кое-где были опущены, и в вагон врвался предвесенний ветер, пахнущий талым снегом, мокрой землей, дымом ближних деревень.

Из сумочки Анна Петровна достала телеграммы, полученные из Севастополя от защитника Винберга в дни, когда она, озаренная надеждой, верила в счастливый исход. Теперь больно было их перечитывать: «Вижу брата каждый день, бодр, здоров», «Брат здоров, бодр, хорошо спит и спокоен. Вижу его каждый день несколько часов. Может быть, суд продлит кассационный срок на три дня». «У брата есть все, он бодр и здоров, доставляю ему каждый день много газет. Будьте спокойны, я забочусь о нем».

Среди телеграмм была одна и от Пети:

«Моя Ася, будь покойна, как покоен я. Мне очень хорошо. Дают все, даже папиросы. Душевное состояние тихое, счастливое. Крепко люблю тебя, не страдай, голубка моя».

Глава четвертая

Канонерская лодка «Терец»

1

В плавучей тюрьме, куда привезли на барже приговоренных, Шмидта поместили отдельно, в железной клетке.

Частник, Гладков и Антоненко сидели недалеко от общего трюма, в котором находились другие матросы-очаковцы, приговоренные к каторге на разные сроки. Трех смертников отделяла от этого трюма глухая перегородка, через которую доносился неясный шум. К Шмидту не пробивался ни звук, ни свет, ни даже свежий воздух.

Когда лейтенанту стала известна царская надпись, выведенная наверху листка синим карандашом, он не дрогнул, потому что, как и другие его товарищи, не верил в свое спасение, и временами вспоминал эту надпись: «Оставить приговор в силе».

Кто-то куда-то еще торопился, просил, хлопотал, пробивался, пытаясь доказать, что суд допустил процессуальные неправильности. Чухнин никого не принимал по этому делу, ни один защитник не проник в его дворец, ни одно прошение не было им прочитано. Он был занят поисками палача, и только потому, что найти желающего не смогли, заменил лейтенанту повешение расстрелом.

Когда Шмидт узнал об этом, ему вспомнился солдат Брестского полка Войтевлянер. Летели тогда телеграммы в тюрьмы всей страны, но не находился палач даже среди закоренелых уголовников. И так же, как тогда Войтевлянер, теперь Шмидт ожидал последней своей минуты. И не только это было общим

в их судьбе. Оба они умирали за одно дело, как умирали и матросы-очаковцы.

Вспомнилось Шмидту, как солдата уводили из севастопольской тюрьмы в степь. Остались от него только письма. Что же останется от лейтенанта? Его завещание потомкам: пусть борются, не забывают дорогу, по которой шел он вслед за революционерами прошедших поколений...

Где Аня? Почему она так долго не возвращается из Петербурга? Как тянется время! Ведь больше уже ничего не нужно. Почему же ее нет сейчас здесь, рядом?

Слышны шаги, заглушаемые шумом волн, на которых качается плавучая тюрьма. Это она, Аня?

Нет, это была не она. На пороге стоял защитник Винберг. Он рассказал, что матросы просили, чтобы им позволили провести последние часы вместе с лейтенантом. Но начальство не разрешило. Он стоял на пороге смущенный, точно был в этом виноват.

— Значит, мы больше не встретимся? — спросил смертник.

Он прижался к иллюминатору и взглянул на бушующие волны. Они разбивались о борт мелкими брызгами, бессильные пробиться в железную камеру. Когда-нибудь поднимется волна, которая разобьет все преграды, уничтожит все тюрьмы.

— Скоро?

Защитник не сразу понял этот вопрос. Потом побледнел. Опустил голову. Положил руку на плечо приговоренного.

Защитник ушел, пришел врач, такой же бледный и взволнованный. Он оказался знакомым: в молодости он жил в Бердянске и знал отца лейтенанта. Приговоренный узнал его и заговорил с ним не о своем здоровье, которое тот пришел освидетельствовать, а

об очаковцах. Врач сказал, что с их стороны жалоб на здоровье нет.

— Не болит ли у вас голова? — спросил он.

Шмидт внимательно взглянул на врача.

— Что? — спросил он глухо. — Голова? Нет, нет, я совершенно здоров.

Доктор все не уходил. Хотелось ему, видимо, спросить еще о чем-то, но он только тяжело дышал. А на Шмидта пахнуло на пороге смерти его молодостью. Не земляк ли этот, войдя в железную клетку, принес частицу той молодости? Маленький приморский городок, окутанный зеленью. Там было много яркого неба, улиц-переулков, заросших травой, раскрытых окон, куда и летом, и осенью вривался запах Азовского моря. Набережная, усыпанная крупным белым песком и ракушками, вела к рыбацким хижинам, откуда мальчик вместе с рыбаками уходил на шаландах в море, блестящее на солнце, — туда, где нет ничего, только воздух и вода.

— Вы и Аню помните, доктор?

— И Аню.

— Где она?

— Едет, говорят, сюда.

— Как долго ее нет!

В черносотенной севастиопольской газете появилось объявление, напечатанное Доминикой: «Продается виолончель лейтенанта Шмидта». В последние дни Доминика отличилась не только этим. В той же черносотенной газете появилось подписанное ею и написанное каким-то грамотеем письмо, в котором она уличала бывшего мужа в том, что он давно был «непойманным революционером»...

...Где Зинаида? При последнем свидании, когда уже был известен приговор, она опустила глаза и сказала: «Я уеду в Испанию».

Он подошел к столику и, продолжая мысленно разговаривать с ЗИР, набросал на бумажке последнее письмо к ней:

«Прощай, Зинаида... Спасибо тебе, что приехала облегчить мои последние дни. Живи, забудь тяжелые дни и люби жизнь по-прежнему. Не жди исполнения приговора в России, поезжай в Испанию, там рассеешься, из газет все равно узнаешь, когда совершат казнь. Я совершенно счастлив и покоен.

В моем деле было много ошибок и беспорядочности, но моя смерть все довершит, и тогда, увенчанное казнью, мое дело станет безупречным и совершенным.

Я проникнут важностью и значительностью своей смерти и потому иду на нее бодро, радостно и торжественно.

Если бы даже мне вернули жизнь, то и тогда не ломай своей, не иди за мной, а живи, Зинаида, для себя или людей, они везде есть, будь счастлива...

Прощай. Еще раз благодарю тебя за те полгода жизни-переписки и за твой приезд. Обнимаю тебя, живи, будь счастлива.

Я далеко отошел от жизни и уже порвал все связи с землей. На душе тихо и хорошо. Прощай».

Вот и все. Об этом можно больше не думать.

Но сестра!

Из Петербурга, очевидно, она еще не вернулась. Быть может, она не знает и о том, что начертано было синим карандашом? А вдруг мы не успеем проститься? Надо ей написать.

«Ася, милая, если бы ты могла заглянуть мне в душу, если бы ты могла постичь, как хорошо мне, как спокойно я жду своей казни, то ты, наверное, не страдала бы, а радовалась за меня.

Я остался верен главному, и сама смерть, направ-

ленная на «Очаков» со всех сторон, не победила меня.

Если бы я был убит в бою, то это не было бы жертвой, а теперь моя смерть на эшафоте все покрывает, все очищает и успокаивает мою душу.

Сознание ожидаемой казни наводит на меня никогда раньше не посещавшее меня особенно тихое и торжественное настроение. Я пребываю в этом состоянии непрерывно, и хорошо мне, Ася, так хорошо, как не бывает никогда тем, кто живет сутолокой жизни.

Сестра моя, голубка милая, говорю тебе все, что в действительности чувствую, все говорю, как на исповеди, потому что знаю, что ты одна на всем свете своей необъятной любовью ко мне все поймешь, даже если я и не в силах ясно высказаться тебе.

Проникнись же, Ася, чистотой моей смерти и не страдай, а радуйся за брата своего.

Знай, Ася, что ближе тебя и Жени у меня никого никогда не было за всю мою жизнь. Живи детьми, как жила всегда, и не горюй обо мне. Прощай, голубка моя. Твой Петя».

2

Канонерская лодка «Терец», вышедшая в море со старшим офицером лейтенантом Ставраки, шла неведомым курсом. Место назначения ее не было известно.

Накануне отплытия канонерской лодки Ставраки был у Чухнина. Он долго беседовал с главным командиром флота, отвечал на его вопросы о настроении команды и раньше всех других знал место назначения лодки. В открытом море он вскрыл секретный

пакет, врученный начальником штаба флота, и ознакомил с ним пассажиров — членов военно-морского суда, прокурора, двух жандармских офицеров.

Были еще в лодке двое штатских, оба корреспонденты, один из «Правительственного вестника», другой из «Крымского вестника». Присутствие этих «шпаков» и настораживало, и злило, и пугало лейтенанта Ставраки. О том, что они журналисты, он узнал по их визитным карточкам. Он недоумевал: зачем они едут туда, где им быть не полагается? Зачем им разрешили туда ехать? Ни с ними, ни с жандармами Ставраки не разговаривал. Молчанье сейчас было безопаснее: он боялся даже этих свидетелей того, что предстояло ему выполнить и что, он надеялся, разрешит в нем что-то, освободит его от того, что давно не давало ему покоя. И Ставраки молча, с затаенной ненавистью смотрел на газетчиков в котелках, в весенних пальто с поднятыми воротниками, нацеливающих те пристальные, внимательно-ощупывающие взгляды, которые — он считал так — бывают только у сыщиков и репортеров.

Когда канонерская лодка приблизилась к плывущей тюрьме «Прут», была глубокая ночь, но там никто не спал.

Около трех часов ночи приехал священник. Остановившись перед решетчатой клеткой, в которой сидели трое приговоренных, он проговорил: «Покайтесь в грехах своих, сыны человеческие...» — и высоко поднял крест.

Частник подошел к священнику и спросил его:

— Духовного звания?

— Да.

— Не вижу.

— А это что? — проговорил священник, указывая на свою рясу.

— Не вижу.

— Ты что... незрячий?

— Зрячий. Потому и не вижу. Ты, праведник, поднял сейчас крест, на котором был распят великий учитель, и этот крест держишь над головами грешников. Хорошо. Мы исповедаемся, и мы причастимся. Но только тогда, когда ты покажешь нам в евангелии, где Христос сказал, что невинных можно убивать.

Священник молчал.

— Молчишь? — спросил Частник. — Уходи, лжеучитель! Пойди и вразуми убийц. Скажи им: «Не исполняйте того, что говорят вам фарисеи, восседающие в судилищах».

— Пошел вон! — добавил от себя Gladkov. — Духу твоего чтоб здесь не было.

Клетка, в которой находились Частник, Gladkov и Антоненко после суда, была настолько тесна, с таким низким потолком, что им приходилось лежать или сидеть на решетчатом полу. Железные прутья впивались в их тела. Но и об этом сейчас забыл Частник: в своем разговоре с тюремным попом он как бы открыл свою веру перед собой и перед своими друзьями и уходил из жизни с душой ясной и очищенной от последних сомнений.

Вечером ему дали свидание с его отцом.

Тот приехал из родного села и прямо с вокзала поехал к дворцу. Часовой не пропустил его за ограду. Старик присел на камень. Он долго сидел, держа в руке длинную и толстую чабанскую палку, и, когда Чухнин показался в карете на углу, у асфальтового спуска, круто падавшего к Мичманскому бульвару, бросился к нему навстречу. Резко и внезапно подавшись назад и защищая лицо ладонью, Чухнин испуганно вскрикнул:

— Что-о?

Но потом, увидев не револьвер, а прошение, протянутое дрожащей старческой рукой, успокоился, даже обрадовался и спросил адъютанта:

— Что ему надо?

— Мой сын! — воскликнул старик. — До сына пусть.

Во дворце он получил пропуск и вечером стоял уже перед сыном, вытирая рукавом слезы, и спрашивал:

— Да как же все это получилось, Сергей?

Частнику мучительно было встретиться здесь с отцом, глядеть на его лицо, прорезанное глубокими морщинами, чувствовать позабытый, но такой знакомый деревенский милый запах дегтя от смазных отцовских сапог.

— Да так уж... — неопределенно проговорил Сергей Петрович. — Что ж...

Он старался не замечать растерянного взгляда отца, а тот потихоньку все клонился вперед и, казалось, вот-вот упадет. Сын говорил ему что-то спокойное, пытался его утешить, но старик ничего не слушал и только повторял, едва шевеля губами:

— Да как же так, Сергей?

Сын у него был единственным родным человеком, и у сына тоже никого не было, кроме отца, ни братьев, ни жены, ни сестер, ни матери, умершей рано. Было их двое, и вот один уходит из жизни — сын раньше отца.

Старик не выдержал, припал к груди Частника и так стоял молча, только вздрагивали его плечи.

— Ну, иди, батя, — заторопился Частник, — не убивайся. Прощай, батя.

Отец пошел к двери, опираясь на палку. Остановился на полпути между сыном и жандармом, обер-

нулся и недоуменным срывающимся голосом высказал, видно, давно заготовленный вопрос:

— Почему же ты, Сергей, пошел против государя-императора?

Частник взглянул в отцовские глаза, показавшиеся без очков, которые старик держал теперь в руке, наивно трогательными, как у ребенка, и ответил:

— Потому что народ люблю.

Смертникам разрешили написать письма родным. Но Сергею Петровичу некому было писать, потому что с отцом он уже простился, и, взяв бумажный лист, он написал письмо всем черноморским морякам.

«Я и другие товарищи с «Очакова», — писал Частник, — приговорены к смертной казни. Сегодня или завтра нас расстреляют.

Накануне смерти я хочу сказать вам несколько слов.

Грядущей смерти я не страшусь — умереть за правду легко... Вас... как нижних чинов, начальство не признает за людей, считая вас за какой-то скот, и совершенно не признает ваших человеческих прав. Сказать открыто правду в защиту человеческих прав — значит совершить тяжкое преступление. Вам говорят начальники: стреляйте!

Товарищи! Передо мной стоит смерть, и завтра меня не станет, но говорю вам, что всякий начальник, приказывающий стрелять в людей, которые требуют лучшей доли русскому народу, сам является изменником родины.

Подумайте, ведь все русские люди, кроме сильных мира сего — чиновников, офицеров, капиталистов и помещиков, — требуют лучшей доли! Значит, выходит, все русские люди — изменники, кроме этой бесчестной кучки эгоистов? Нет, это наглая ложь

начальников, защищающих свое личное благополучие. Кто же тогда родина? Неужели эта кучка людей? Нет и нет!

140 миллионов людей, вся русская земля и ее сокровища — вот что называется нашей родиной. И ни один честный офицер или вообще начальник не станет теперь поддерживать правительство, так как оно из-за своей выгоды залило кровью русскую землю и приводит нашу страну к явной гибели...

Еще бы писал, но уже сказано готовиться к казни.

Мой предсмертный совет вам, дорогие сослуживцы: помогите несчастному русскому народу добыть лучшую долю!..

Шлю всем свой искренний последний привет.

Прощайте навеки!

Кондуктор Частник.

Шлют свой прощальный привет Гладков и Антоненко».

Антоненко ничего не написал ни отцу, ни мальчикам-сыновьям, ни жене. Много раз он брал в руки перо, пытаясь высказать всю свою глубокую боль за них, но ничего не получалось у него, кроме отдельных фраз:

«Батяка Григорий Афанасьевич! Идите до могилы моей да залейтесь горячими слезьми, бо нема у вас больше сына. Прощайте, Мавра Опанасовна, не забывайте, не минайте в думках своих супруга вашего, загубленного катями за громадянско счастье».

Антоненко долго сидел за бумажным листком, но только изгрыз крепкими молодыми зубами ручку, не написав больше ничего, потому что бессилён был уложить в строчки все, что переживал, и то, что написал, показалось ему не главным. Он бросил перо.

риться головой о потолок, и лег рядом с Гладковым. По телу его прошла дрожь.

— Ты что? — осторожно спросил Гладков.

— По сынам жалкую.

— А я по братьям да сестрам.

Оба замолчали.

— А не надо, — проговорил Гладков после недолгого молчания, — не надо, милый. Не вернешься этим к своим.

Утешая товарища, сам он в это время как бы отсутствовал. Он был сейчас далеко, дома, в Пензенской губернии, где вместе с родителями жили его маленькие братья и сестры. Не свершилось то, что он задумал: поднять братьев и сестер. Было их много, и никто еще, кроме старшего, не знал грамоты, и поэтому в письме своем Гладков обратился к нему:

«Дорогой брат Костя, прошу тебя, не оставь без внимания маленьких сестренок и братишек, не обижай мамашу и папашу, и всю семью. Передай всем товарищам почтение и скажи, что погиб я в борьбе за свободу. Крепко обнимаю вас, дорогие родители, и горячо целую братьев Костю, Мишу, Васю, Геру, сестриц Сашу, Наташу, Лизавету и желаю вам жить много лет.

Не очень плачьте обо мне. Время теперь такое, люди гибнут по всей русской земле. Хотелось бы, Костя, посмотреть, какой будет Россия, но делать нечего, приходится погибать за правое дело. Прощай, браток Костя, прощайте навсегда».

Шмидт собрал свои вещи, хотя они уже не нужны были, кроме ручки и карандаша. Были среди вещей гребень, которым он причесался, собираясь уходить, морская фуражка без кокарды, две ложки, деревянный нож для бумаги и рисунок острова морской батареи.

Завернув ложки в бумагу с рисунком и перевязав бечевкой, Шмидт написал на пакете письмо:

«Дорогой сыночка! Посылаю тебе эти ложки. Мы вместе с тобой пользовались ими в каземате. Береги их на память о нашей дружной хорошей жизни в очаковской крепости...

Я покоен и силен. Таким и останусь до конца. Будь и ты мужественен. Крепко, нежно обнимаю тебя и люблю. Помни мои последние слова: Аня тебе мать, но ее дети — твои дети, и ты их должен поставить на ноги.

Прощай, будь счастлив, голубчик мой. За тебя покоен душой, потому что ты у Аси. Обнимаю и люблю. Твой друг папка».

В последнюю минуту, когда на баке пробили четыре удара и далеко и глухо затопали шаги, приближавшиеся к железной клетке, Шмидт взял еще одну вещь, лежавшую рядом, — старинный образок, подаренный покойной матерью, перевернул его и перед уходом написал на обороте твердым крупным почерком:

«Благословляю Асю, Владимира, Женю, Катю, Колю, Лялю, Маку. Мне очень хорошо. Господь с вами! Петя. Иду на казнь.

6 марта 1906 года. 5 часов 20 минут утра».

3

Канонерская лодка «Терец» подошла к плавучей тюрьме.

Старший офицер Ставраки, приказав опустить трап, остановился невдалеке от него, низко надвинул фуражку. Пока конвоиры-солдаты шли к трапу, он стоял вытянувшись, не спуская с него острого взгляда.

Вблизи загремели засовы и петли железных решеток. Смертников выводили со связанными за спиной руками, через угольный люк. Им не позволили попрощаться с товарищами, оставшимися на транспортном судне, и они успели только крикнуть:

— Прощайте, уходим!

— Прощайте, товарищи! — ответили те, которым предстояла долгая каторга в далеких краях.

Было еще темно. Трех смертников усадили в шлюпке рядом, четвертый, лейтенант, сидел недалеко, связанный, как и другие.

На берегу были уже рыбаки, готовившие до расвета шаланды для лова, грузчики, ожидавшие парохода, солдаты берегового гарнизона, только что вставшие по побудке. Прожектор с канонерской лодки шарил по ним, и некуда было от него спрятаться. Полоса ослепительного света долго освещала четырех смертников. В море, под лиловым небом с догоревшими звездами, старший офицер Ставраки, поравнявшись со шлюпкой, громко сказал одному из четырех:

— Здравствуй, Петя.

Но тот, кого он окликнул, молча смотрел в воду. Казалось, он был поглощен созерцанием катящейся волны.

— Здравствуй! — все еще сдержанно, но с заметным раздражением повторил Ставраки.

Смертник продолжал сидеть молча. Он и не взглянул в сторону старшего офицера.

— Тебе говорю! — выкрикнул Ставраки в ярости. — Тебе! Ты и сейчас... Сейчас тоже, а?..

Он долго не мог найти слова. Потом продолжал:

— Молчанием хочешь меня унижить? А? Вот... вот... Следа от тебя сегодня не останется. Не будешь

больше мешать людям жить, как они хотят. Молчишь? Ну, молчи.

Песчаные дюны показались вдали. Канонерская лодка теперь уже стремительно неслась вперед, туда, где в наступающем рассвете смутной тенью начал вырисовываться остров Березань.

На острове ни дымка, ни каких-либо других признаков жизни. Далеко, до самого горизонта виден один сплошной пустырь. Чахлые сухие ветлы, хиреющие на безводной почве, будто тянулись к солнцу. Но оно еще не показывалось.

От берега, куда причалила канонерская лодка, люди пошли в глубь острова. Идти было трудно, ноги увязали в песке.

Впереди, в трех аршинах один от другого, торчали четыре столба, вкопанные в песок. На столбы, как на людей, натянута была белая савана. За столбами зияла глубокая яма. Стояли четыре гроба. Неподвижно застыли барабанщики. Рядом, в двенадцати шагах от столбов, выстроились прибывшие раньше два взвода. Первый — из матросов-новобранцев, одетых в новенькие бушлаты, второй, стоявший позади первого, состоял сплошь из солдат различных народностей, почти не понимающих по-русски и не знающих, кто такие те люди, которых они должны сейчас убить.

Ставраки, приняв командование над ротами, вышел вперед.

Одет он был в походную форму, как и доктор, в серебряных погонах. Священник в новой рясе смиренно держал в руке крест. Были здесь председатель и секретарь военно-морского суда, прокурор. Командовал барабанщиками боцман из бывших чабанов помещика Фальцфейна. Бушлат с нашивками казался тесным на его могучих плечах. Он стоял навтыжку,

ожидаая той минуты, когда по взмаху командирской руки надо бить барабанную дробь.

Ставраки остановился перед Шмидтом.

— Ну! — пробормотал он. — Прощай.

Шмидт молчал. Во взгляде его читалось то равнодушие, которое мучило Ставраки, как высшее торжество его врага. Уходя, Шмидт знал, что оставляет свою правду, свой мир, который уничтожит Ставраки.

Этой верой был он силен и сейчас, и на врага своего посмотрел, как на камень, торчавший на берегу. Свалит его только буря.

«Почему же я так спокоен? — подумал лейтенант, уходя все ближе к четырем столбам. — Почему он меня больше не тревожит? Я умру, но не весь... От него же не останется даже памяти. Даже имени его никто не узнает».

— Прощай! — снова донесся к лейтенанту возглас Ставраки, на этот раз торопливый, озабоченно-снешащий. — Слышишь, ты? Прощай.

Шмидт молча продолжал шествовать рядом с тремя товарищами-матросами и ни разу не обернулся, не взглянул на врага, и лицо его в этот момент, освещенное предрассветным лучом, вставшим из-за камышей, было светлое, с ясными глазами, озаренное блеском, идущим изнутри. Это была одухотворенность человека, отмеченного глубокой мыслью и высоким спокойствием.

«Нет, я больше ничего не скажу ему», — продолжал размышлять смертник, отбросивший уже от себя все земное, что недавно волновало его, и твердо уверенный в своей правде, потому что другой нет, правда бывает только одна.

Он шел последним путем, каким шли многие до

него, и сознание того, что не был он одиноким, делало шаг его твердым.

— Ну вот,— проговорил он, внезапно остановившись вместе с другими у самого берега.— Дальше идти некуда.

Гладков, стоявший рядом, слегка дрожал в предутренней тишине, как от озноба. Глаза его, обведенные красным ободком, проступившим от бессонницы, бесстрастно устремились вдаль, за волнолом, над которым с громким криком летели чайки, построившие гнезда в прибрежном песке.

Все было готово. Канонерская лодка направила орудия на площадку, где торчали четыре столба. Смертников подвели и развязали им руки. Кто-то снял со столбов саваны и пытался набросить их на осужденных, но те отшвырнули от себя и их, и веревки, которыми фельдфебель из сверхсрочников хотел привязать осужденных к столбам.

Священник еще раз обратился к ним с увещанием, но они молча отвернулись.

Шмидт обходил товарищей и обнимал их.

— Не горюй, родной,— сказал он Антоненко,— на крейсере мы поклялись не спускать красное знамя. Не забудем нашу клятву. Кровь наша не уйдет в этот холодный песок. Нет, не уйдет. Отзовется. Падет огнем на головы врагов народа.

Антоненко склонил голову на грудь Шмидта. Потом вытянулся. Скрестил на груди руки. Встал у столба.

Рядом стоял Гладков.

— Мы готовы! — выкрикнул он.— Стреляйте.

Четверо глядели на замершую цепь молодых солдат, держащих по команде винтовки на изготовку. Многие приставили винтовки обратно к ноге.

Секретарь суда долго читал приговор. Никто не слушал его, все давно было всем известно.

Шмидт снял с себя китель без погон, аккуратно сложил его и положил у столба, оставшись в одной сорочке. Частник и Антоненко также сняли с себя верхнюю одежду. Один Гладков остался в бушлате.

Шмидт, вытянувшись во весь рост, повернулся вполоборота к солнцу. Оно медленно поднималось над прибрежными камышами, рассеивая предутренний мрак и холод.

Так и стоял Шмидт, глядя на солнце, освещавшее его. Он что-то хотел сказать, поднял руку, но боцман, мгновенно повернувшись к барабанщикам, выкрикнул: «Дробь!» — и барабаны заглушили голос Шмидта.

Ставраки опустил белый флаг.

— Стреляйте в сердце! — успел крикнуть Шмидт.

Раздался залп.

Упали Частник и Гладков. Гладков был убит сразу. Частник упал на колени, застыл на минуту и опустил голову на грудь. Шмидт, смертельно раненый, оперся о столб, свесил голову и опустил руки.

Ставраки снова взмахнул флагом. Грянул второй залп, опять неточный и неверный. Теперь Шмидт не стоял — он лежал у столба, прижимая ладонь к груди, хотя боли уже не чувствовал. Небо опрокинулось, солончаковая земля была теперь наверху. Потом и она ушла.

Ставраки опустил флаг в третий раз. Но молодые солдаты больше не могли стрелять. Ставраки командовал тем, которые стояли в затылок их цепи:

— Вторая рота, готовься! Пли! — выкрикнул Ставраки в третий раз, когда вторая рота заняла место первой.

Третий залп был дан по одной мишени, и «мишенью» этой был матрос Антоненко. Тот и после этого залпа стоял живой. Тронув рукой струйки крови на своей груди, он разглядывал пальцы и удивленно сказал:

— Да то ж моя кровь льется...

По уставу, смертников, оставшихся живыми после третьего залпа, прощали, но Ставраки приказал стрелкам добить Антоненко и лишь после этого сказал:

— Можете идти.

Направляясь с площадки к берегу, где ожидала его канонерская лодка «Терец», он неожиданно задержался, подошел к одному из четырех казенных, распластавшемуся у столба.

— Кто же прав, отвечай! — проговорил Ставраки быстро, сам не понимая своего порыва и смысла своих слов, и поторопился уйти от лейтенанта Шмидта, остановившего потухший взгляд на солнечной полосе, осветившей горизонт.

Эпилог

В июне 1906 года, вскоре после казни лейтенанта Шмидта, вице-адмирал Чухнин был убит на пригородной даче «Голландия» выстрелом из револьвера. Убит он был матросом Акимовым, нанявшимся для этой цели на дачу садовником. Мститель скрылся и позже благополучно перешел границу.

Весной 1917 года, при Временном правительстве Керенского, севастопольскими матросами был поднят вопрос о наказании лейтенанта Карказа — того самого старшего офицера на «Ростиславе», который издевался над Шмидтом и его сыном. Власти всячески затягивали привлечение Карказа к ответственности, и тот оставался безнаказанным до 1918 года, когда Севастополь стал советским. Карказ был расстрелян севастопольскими матросами.

Прах лейтенанта Шмидта был перевезен с острова Березань в Севастополь, где и захоронен при огромном стечении народа на кладбище. Над могилой сооружен памятник.

Лейтенанта Ставраки, дослужившегося в царском флоте до звания капитана первого ранга, долгое

время не удавалось найти. После октября 1917 года он служил смотрителем на одном из маяков в районе Батуми, но все же был опознан и арестован в марте 1923 года. Выездная сессия суда, состоявшегося в Севастополе, в открытом заседании приговорила Ставраки к смертной казни, и приговор был тогда же приведен в исполнение.

Имя лейтенанта Шмидта помнят и чтят советские люди — те люди, чей приход виделся ему, когда он шел в свой смертный бой за будущее народа.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НАКАНУНЕ	3
<i>Глава первая.</i> Восток и юг	—
<i>Глава вторая.</i> Шум времени	23
<i>Глава третья.</i> Манифест	40
<i>Глава четвертая.</i> «Три святителя»	52
<i>Глава пятая.</i> Крейсер первого ранга	73
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕВЯТЫЙ ВАЛ	94
<i>Глава первая.</i> Очаковцы не сда- ются	—
<i>Глава вторая.</i> Бал во дворце	134
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСТРОВ МОРСКОЙ БАТАРЕИ	144
<i>Глава первая.</i> По следам брата	—
<i>Глава вторая.</i> Первое свидание	162
<i>Глава третья.</i> Горькая любовь	173
<i>Глава четвертая.</i> Дорогое имя	185
<i>Глава пятая.</i> Плещут холодные волны	195
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СУД ИДЕТ	210
<i>Глава первая.</i> Первый день	—
<i>Глава вторая.</i> Приговор	229
<i>Глава третья.</i> Синий карандаш	242
<i>Глава четвертая.</i> Канонерская лодка «Терец»	251
Эпилог	269

X15 *Хаит Давид Маркович*
ОСЕННИЙ ГРОМ. Повесть о лейтенанте Шмидте. М., Политиздат, 1969.
271 с. с илл. (Пламенные революционеры)
9(С)173 + P2

Редакторы *А. П. Пастухова, П. А. Сац*
Иллюстрации художника *А. О. Кошкина*
Художественный редактор *С. Н. Голубев*
Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Подписано в печать с матриц 27 декабря 1968 г.
Формат 70×108¹/₂. Бумага типографская № 1.
Услови. печ. л. 12,512. Учетно-изд. л. 11,44.
Тираж 200 тыс. (100 001—200 000) экз. А 09877.
Заказ № 2024. Цена 56 коп.

Политиздат, Москва, А-47. Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.